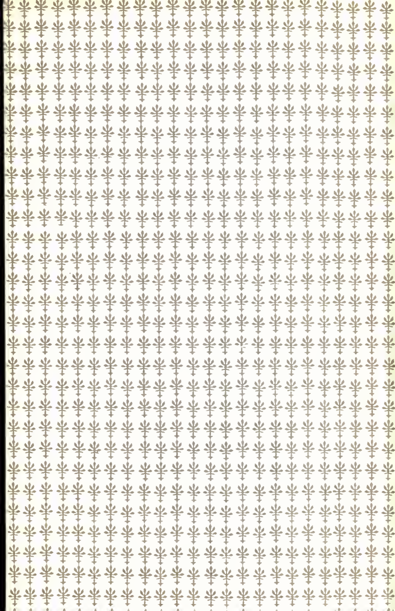
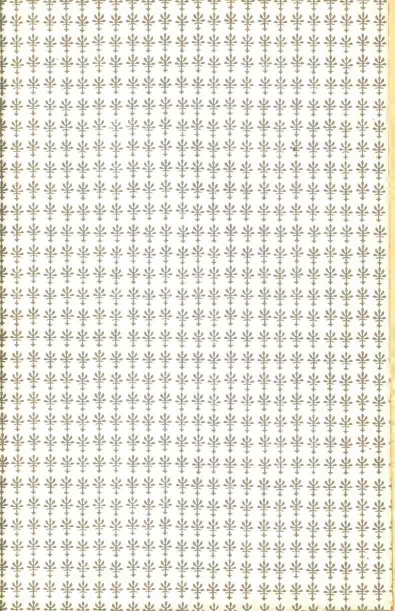
НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Виталий Богомолов







НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Виталий Богомолов



РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1987

Р2
Б74

Рецензент
В. ИСАЕВ

Б $\frac{4702010200 - 322}{М106(03) - 87}$ 30 — 87

РАССКАЗЫ

ДЕРЕВУШКА НА МАРШРУТЕ

— Собрался куда-то ни с того ни с сего, — недоумевала жена. — Ну зачем тебе, Дима, в город?

— Могу я иметь свои потребности? Детали вон, например, надо поискать к мотоциклу, того гляди — лето подскочит. Отпуск ведь у меня, — отвечал уклончиво Дима на ворчание жены.

— А паспорт тебе на что? — допытывалась она.

— Да на всякий случай. Все ведь она усмотрит.

Галя вздохнула с недоверием, чувствуя, что муж опять что-то придумал, но скрывает от нее.

К вечеру Дима Батраков шагал по улицам областного города и в прекрасном настроении намурлыкивал себе под нос куплет из популярной песенки.

Поджидая на остановке троллейбус, он присматривался к прохожим, и ему было приятно думать, что вот он, деревенский человек, комбайнер, нисколько не отличается по одежде от горожан, что в свои тридцать пять лет одет вполне современно: шапка, полушубок, теплые импортные сапоги. Руки вот, правда, смущали его. Он оглядел украдкой свои крепкие, с жесткой истрескавшейся кожей ладони. Даже за неделю отпуска не отмылся въевшийся мазут. Но что сделаешь, такая работа у него, механизатор. Ничего, успокаивал себя Дима, зато котелок варит

не хуже, чем у других. Газетки с журнальчиками небось выписывает не для того, чтоб продукты заворачивать...

Но тут Дима осаживал себя, понимая, что лишку хватил, занесло до нескромности.

Переночевал у односельчанина, своего сверстника и друга детства Володьки Кузнецова, который уже лет четырнадцать жил в городе, не раз приглашал его, при случае, заходить и каждый раз при встречах в деревне напоминал Диме свой адрес.

Городская квартира друга не удивила Диму. Батраков доказывал, что его деревенская изба по удобствам мало уступает Володькиной квартире: водопровод есть, и канализация есть. Какая разница, что самодельные. Служат-то исправненько. А что отопление дровяное, так врачи говорят, воздух от этого только здоровее и полезнее.

Дима был на удивление жаден до работы и неутомим на всякие выдумки. Чтоб жене, например, не таскать помои, не надрываться, он канализацию сделал: вырыл глубокую яму — сливную, утеплил ее сверху навозом, и от раковины умывальника пустил в яму трубу.

Вот туалет, правда, был у них холодный, на улице, для ребятишек это плоховато. Ну, а баню разве можно сравнить с ванной. По правде сказать, от предложения принять с дороги ванну он не отказался. А когда вышел, сказал:

— В баню бы ее ко мне — вот это б дело было! Ребятишкам для забавы, прямо бассейн целый. А так, одна, без бани, — пожал он плечами, — не то как-то. Белье замачивать, правда, хорошо.

— Нам нравится, мы привыкли мыться в ванне, — ответил друг, не желая лишь из гостепри-

имства высмеивать Диму за деревенский патриотизм. — Баня-то городская от нас далеко, в старом микрорайоне. Напаришься там, а после мерзнешь на остановках... Тоже мало интереса.

— Да, это не дело, — согласился Дима, отметив про себя мимоходом, что Володька в последние годы прибавил в габаритах, а с жирком и лень, говорят, начинает заводиться.

Они сидели на кухне, чтоб не мешать улегшейся спать семье Володи, дымили неторопливо папиросами, говорили вполголоса о деревне. Повспоминали детство и веселую молодость и, отяжелевшие, умиротворенные воспоминаниями, пошли спать.

Утром Дима Батраков отправился в аэропорт местных авиалиний. Он обошел здание, пригляделся, прочитал указатели, ознакомился обстоятельно с маршрутами, расписанием, уяснил обстановку и только тогда независимо и уверенно подошел к кассе, будто каждый день летал на самолетах.

Людей перед ним оказалось пять человек. Хотя внешне Дима и выглядел спокойным, а сердчишко у него от волнения подпрыгивало. Пережидая очередь, смотрел в широкое окно: утро занималось ясное, всходило солнышко, обещая погоду летную. А ему это и надо было.

Спросил билет до Усинска на сегодня. Билеты были, и Дима протянул паспорт.

До вылета оставалось еще четыре часа, и, чтоб скоротать время, он поехал в центр, обойти магазины. С пустыми руками заявиться домой из города тоже неловко.

Вернулся с набитой покупками сумкой. Зарегистрировал билет.

На летном поле, перед окнами зала ожидания, стояли рядком несколько «аннушек», и Ди-

ма гадал, на которой из этих двукрылых стрекоз выпадет ему лететь. Самолет с фюзеляжем, выкрашенным в красио-белый цвет, выглядел новее других и казался понадежнее. А те, два, что стояли рядом, были зеленые, старенькие и доверия почему-то не внушали. Хотя Дима и зиал, что это чепуха, — ненадежную машину в полет не пустят.

Ои заметил, что у одного мотор зачехлеи, зиачит, оставались два. Который из них? Хотелось все-таки на красно-белом.

Наконец объявили посадку. Пассажиры столпились у входа на поле. Появились два летчика, крепкие ребята, примерно Диминого возраста. Несмотря иа раннюю весну, оба были в фуражках.

Вместе с собой Дима насчитал девять пассажиров, до полного комплекта не хватало трех. И вот летчики повели их к тому самолету, что был поновее. Один из них сразу взобрался ловко по металлической стремяике в самолет и прошел в кабииу, другой стоял у входа, ждал, когда войдут пассажиры.

Уловив подходящий момент, Дима негромко и доверительио заговорил:

— Товарищ пилот, разрешите обратиться к вам с личной просьбой, так сказать.

Пилот резко повернул к нему лицо. Вот в такие неподходящие минуты к иему никогда ие обращались с личными просьбами, ни разу за все время, которое ои работал здесь.

— Слушаю вас, товарищ, — сказал он Диме и посмотрел на него с любопытством.

Тут Диме не хватило выдержки, он разволновался и стал говорить, захлебываясь словами, вся его затея показалась ему теперь такой глупой, мелочной, что сделалось стыдио.

— Километров за двадцать, это самое, до конечной точки есть деревня Рябинино. Вы всегда пролетаете около ее верхнего конца. — Летчик слушал с нетерпением, Дима понимал, что задерживает его, некоторые пассажиры уже оглядывались на них, прислушивались к тому, что Дима говорил, и он торопился: — Этот конец деревни называют верхним, потому что речка течет оттуда.

— Ну и что?

Дима начал краснеть.

— Да я живу в этой деревне. Дом на самом краю. Каждый день смотрю, как летаете. Да, может, и вы меня тоже видели, я еще так всегда рукой помашу вам. Приветливо. На этих днях-то все крышу от снега огребал.

Летчик улыбнулся.

— Толя, — позвал его напарник через распахнутую дверцу кабины.

— Сейчас-сейчас, — отозвался Толя. — Короче можно, товарищ, — попросил он Диму, собираясь убирать лестницу.

— Понимаете, надо мне поглядеть на свою деревню сверху. Никогда не видал. Специально вот приехал. У меня отпуск. А вы, бывает, пролетаете над старой пилорамой, считай, что два километра в сторону будет. Пролетите, пожалуйста, сегодня над крайним домом. Из Усинска-то я уж пешком утопаю. К вечеру дома буду. Там всего двадцать километров. Можно? А?

Летчик покачал головой, поджав губы, мыкнул, и было непонятно, то ли он отказывает в просьбе, то ли обдумывает ее.

— Проходите, занимайте место, — предложил он.

Смущенный Дима вздохнул глубоко и уселся на свободное место. Он угрюмо наблюдал, как

летчик захлопнул наружную дверцу, прошел быстро по самолету, на ходу попросил пристегнуть всех ремни и исчез за дверцей кабины, запахнув ее. В салоне стало совсем сумеречно.

— Что там, Толя? — спросил старший пилот у товарища. — Книгу жалоб, что ли, требуют?

— Да понимаешь, артист один просит над его домом пролететь. Специально, говорит, отпуск взял и приехал из своей деревни.

— Да ну?! Он что, того? — Удивленный коллега Толи покрутил пальцем у виска.

— Вроде нет. Вижу, говориг, как над моим домом летаете, и захотелось, говорит, посмотреть сверху на себя, как живем, — засмеялся Толя.

— Она что, на маршруте, деревня-то его?

— Ну да. Просит, чтоб над крайним домом...

Старший взял в руки карту.

— Как деревня называется?

— От забыл. Дубки, что ли... — Он приоткрыл дверцу, спросил: — Как называется?

Дима встрепенулся.

— Рябинино! — воскликнул он негромко.

Наконец в машине что-то зажужжало протяжно, мотор всхлопнул раз, другой и взревел, стал прогреваться. Через минуту-две, покачиваясь плавно, машина начала выруливать на взлетную дорожку.

Дима сроду самолетом не летал, не довелось как-то, и сейчас сильно волновался, не зная, что придется пережить. Говорят, новичков укачивает.

Как только набрали высоту и выровнялись, а внутренности Димы, замеревшие было на взлете, успокоились, он понял, что ничего особенного с ним не произойдет, и попросил пожилую женщину, сидящую у окна, поменяться местом, объяс-

ним, что летит впервые и хочется ему глянуть на землю. Она без охоты, но согласилась. И Дима, усевшись возле круглого окошечка с левой стороны, прильнул к стеклу.

Под крылом проплывали незнакомые места, но разглядывать их было интересно. И Дима смотрел вниз безотрывно, так что к концу часового полета шея у него задеревенела.

Первым селом на пути, которое он узнал по недавно реставрированной церкви, ярко и неестественно раскрашенной в разные цвета, оказался Ашар. Отсюда до Рябинина тянулась шестнадцатикилометровая дорога, по которой ползли грузовички. Сверху она была похожа на нитку пряжи, а машины на бегающих по нитке маленьких жучков. По прямой было до Рябинина километров около десяти. Здесь начинались родные с детства просторы, и Дима оживился, он сейчас легко ориентировался, узнавая поля, лощины, леса, луга, кулиги, косогоры, где сам бывал.

Его поразило, что лес, раскинувшийся по правую сторону дороги от Ашара до Рябинина, был таким редким, что просматривался сверху насквозь. И где тут прячутся разбойники-волки, приходилось только недоумевать.

Вот показались и елани, после которых лес должен будет кончиться и там, вдоль речки, поперек маршрута самолета, вытянется по балке его Рябинино.

У Димы вновь заколотилось сердце. Он напрягся, ожидая, когда увидит деревню, в которой родился и прожил всю свою жизнь, если отбросить три года армейской службы.

И вот она открылась, сразу, вдруг, как только они пролетели лес и оказались над балкой. Он с восторгом окинул взглядом кривую улицу, запутавшуюся в тополях, которые сплетением го-

лых веток похожи были сверху на разбросанные сети. Отыскал свой дом. Очищенные от снега, крыши притаяли на солнышке и зачернели от мокроты На этих крышах, когда сбрасывал снег, ему и захотелось взглянуть на деревню с воздуха.

Самолет пролетал чуть правее, но почти над усадьбой. Шел он невысоко. И тут Дима неожиданно увидел жену и аж охнул от переполнившей его радости и засмеялся, как ребенок, привлекая внимание пассажиров. Галя шла от речки с ведрами на коромысле. И вспомнилось, что у нее было замочено белье, и теперь она, видимо, шла с проруби, где полоскала выстиранное. Дима сразу нахмурился сердито: опять она его не слушает, скоро рожать, а таскает тяжести.

Должно быть, услышав рокот мотора, Галя приостановилась, видно было, как она развернулась и по деревенской привычке поглядела в небо. Если б она знала, что Дима летит на этом аэроплане, смотрит на нее сверху в окошечко и грозит кулаком... Еще он успел заметить возле ограды своего пса Рубина, который неподвижно стоял на снегу черной статуэткой и глядел в улицу. А затем деревня отстала и скрылась из вида.

Через несколько минут самолет зарулил на посадку и, подняв облачко снега, приземлился.

Пилот Толя вышел из кабины, встретился взглядом с Димой, улыбнулся ему.

— Ну как? — спросил он. — Порядок?

— Ви-идел! Здорово! Только уж очень быстро промелькнуло все. Вот бы над улицей... — воскликнул он мечтательно.—Вообще-то спасибо большое за уважение! На всю жизнь запомню. Как сфотографировал.

К вечеру он был дома.

Когда за столом собралась вся семья, жена и двое ребятишек, Дима весело рассказал о поездке в город и словно бы между прочим заметил, как в половине второго шла Галя с речки. Жена недоумевала, откуда ему это известно, когда его не было дома.

— Ты что, колдун?

— Колдун, — смеялся Дима. — Знаю сухое слово, скажу его, посмотрю на часы и вижу, где что происходит.

Подурачась, он стал расписывать, как пролетел над деревней, как увидел Галю с самолета, свой дом, пса Рубина.

Галя только головой покачала. А сын и дочка слушали отца, разинув от изумления рты.

Потом зашел сосед, Петро. У него в погребе крысы истребили морковь, и он пришел узнать у Гали, агронома, как вести с грызунами войну, пока эти оккупанты все не сожрали. Дима рассказал и соседу о своем путешествии.

— Жаль, что летом у меня работы много. Тогда бы вот взглянуть на нашу красоту-то. Ниче, как-нибудь с Валеркой специально выберемся, пролетим. Покажу ему. У меня там, между прочим, теперь летчик знакомый есть, Толя. — И Дима потрепал двенадцатилетнего сынишку по вихрам. — Полетим?

— Ну, — важно ответил Валерка.

— А билетик-то сколь стоит? — поинтересовался Петро.

— Да шесть с полтиной.

Петро ненадолго задумался, шевеля губами, и сказал:

— Ну и блажной ты, Митька! У тебя деньги-то лишние, что ли? Это до города, считай, десятку надо будет на двоих-то, да на самолет три-

надцать рублей. Во оно куда выскочит. А для чего? Блажная затея. Дурь.

Эти рассуждения соседа почему-то рассердили Диму.

— Да при чем тут деньги! — сказал он, вставая. — Как говорится, с птичьего полета поглядеть на родное гнездо... Красота-то какая, знал бы ты! Де-еньги!

Он даже из избы вышел в сени и закурил от волнения, делая глубокие затяжки, такая обида накатила. Весь праздник в душе смазал этот Петро. Принес его черт...

«Для чего живем-то? Для чего? Радоваться или деньги считать? Наверное, жить да радоваться! А ведь не умеем радоваться?! — растерялся он от внезапной догадки. — Скачешь как кузнечик, осмотреться-то бывает некогда, куда несет. Правильно сделал, что все бросил и путешествие устроил себе. Вот дуралей-то я был, не видел раньше этой красы... До армии думал — только б ноги отсюда унести, не вернусь».

Может, так и получилось бы и не вернулся бы Дима после армии в свою деревню, да стариков надо было допаивать-докармливать. Один он у них был. Два старших брата-погодка, один с двадцать пятого, другой с двадцать шестого года, погибли на войне. А отец вернулся. И Дима родился после войны. Поздний поскребыш. Утешение старикам.

Умерли — поглядел он на дом, на усадьбу другими глазами: ведь это была память об отце с матерью, о братьях, о дедушке с бабушкой, об их обширной родне. Здесь — старина, здесь жизни прошли целые, да какие жизни-то нелегкие. Пожалуй, об этом только деревья и знают, когда-то давным-давно посаженные вокруг усадьбы.

И его деревца растут здесь. Его детишки родились здесь. Уже немало вложил он труда своего в землю предков, и этим тоже дорога она для него. Нет у него на всем белом свете места дороже этого, связанного с сердцем. Нет! И не будет. А когда с самолета увидел родной край, так еще больше удостоверился в правоте своей.

Нет уж, старики тут жили и работали, чтоб род не заглох, и Дима для этого сделает все, что сумеет. Ведь он со своей семьей — последняя ветвь их некогда большого рода. И любовь к родине, уважение к делам стариков надо как-то передать детям, ибо холодеет душа при мысли, что его могила может оказаться последней в ряду могил предков и что никто и никогда не придет больше к этому ряду, не поправит осевших холмиков, не подновит памятники, не посидит задумчиво... Разве для этого жили, чтоб все — ни к чему.

«Как можно не понимать? — удивлялся он. — Галка, та ладно — женщина, другое устройство совсем. Так она хоть помалкивает, если не согласна. А этот ведь — сразу судить...»

На другой день Дима складывал возле бани дрова. Настроение у него было снова хорошее. Покойна деревенская жизнь в эту пору, никакой суеты. Дали ясные, прозрачные. Светило солнышко, оно уже чувствительно пригревало, снег притаивал везде: возле досок, жердей, мусора, стволов деревьев. Что-то в природе творилось и понятное такое и в то же время таинственное. Перемены какие-то произошли. Лес, стряхнув снег, потемнел. Да и воздух был пахучий, сладко им дышалось.

По веткам калины сновали воробьи, чирикали взахлеб пронзительными, звонкими голосами.

Напористо чирикали, с приписком. «Весна, — вздохнул Дима. — Пришла, матушка».

Работая, он поджидал, когда полетит самолет на Усинск. И лишь «аннушка» показалась из-за леса над деревней, снял шапку и начал размахивать ею. В ответ ему самолет качнул крыльями.

«Они! Заметили!»— воскликнул Дима. Провожая самолет взглядом, приставив ко лбу ладошку, как делали они в детстве, думал, вновь слегка разволновавшись: «Не-ет, это хватает за душу, это здорово — глянуть на родные места с высоты».

ПОЕЗДКА ЗА ИЗБАВЛЕНИЕМ

Всю зиму мать звала его в тоскливых письмах: конюшня совсем разваливается, того гляди — задавит корову. А куда без коровы, одной?

Вспоминая родной двор со всеми его пристройками, Матвей думал с досадой: «Плохо. Нет в хозяйстве мужской руки, и ветшает усадьба...»

Отпуск летом выпадал нечасто. И Матвей не раз скреб в затылке: в этом году он планировал на солнечном юге побывать, фруктов поесть, в море искупаться.

Но если по совести — надо матери помочь. Редко наезжал он к ней, потому что жил далеко, в городе. Семья здесь была, привычками оброс, заботы не пускали. Работал он на заводе мастером. Да и жена деревенскую тишь не очень жаловала. Ей больше нравились шум и суета приморских городов.

И вот, скрепя сердце, Матвей приехал к матери.

Она радешенька, что дозвалась. Каждое утро что-нибудь стряпает для сына, угодить ему хочет так, чтоб помнил дольше.

Только он прибыл, а простодушный человек Славка Натальин, сверстник и друг детства, — тут как тут. Он Матвея любил и утомлял бесконечными расспросами и путаными рассказами о своем житье.

Матвей со Славкой и лесу, необходимого для ремонта, подвалили, и конюшню перекатали, на свежий мох подняли. Починили в считанные дни. Но крышу сделать не успели: жатва началась, и Славка — штурвальный на комбайне — от зари до темна пропадал теперь в поле.

Отпуск быстро летит, пять дней осталось Матвею до отъезда. За эти дни надо сруб обязательно под крышу загнать, иначе гибель конюшне. Что старуха мать одна сделает? А чем крыть?

Стал он собирать разное старье, кое-что набрал, а больше — теса нет. И пошел он тогда за лог, на заброшенную усадьбу соседки Евдокии Агафоновны глянуть, нет ли там подходящего материала.

Пошнырял по заросшему бурьяном двору — не нашел ничего. Взобрался на сеновал — пусто, нет сена. Присмотрелся Матвей впотьмах и увидел на балках под скатом крыши стопку добрых тесин. Сложены аккуратненько, одна на одну. Лежат — широкие, желтые. Давно, наверное, положены, а хорошо сохранились в темном и сухом месте, как новые. Только верхняя доска пылью покрылась да пометом птичьим обгажена.

Перетаскал Матвей все девять штук, продорожил и зашил ими крышу.

Мать узнала про доски, посмотрела-посмотрела, подумала и сказала:

— От Евдокиюшки не раз я слыхивала, что у

нее на гроб доски припасены. Говорит, когда умру, чтоб гроб не сколотили из каких попало досок, как нищенке. Не увезла, видно, их. Это, Мотя, не они ли? Тогда неладно!

— Какой гроб, — рассмеялся сын. — Сама живет в Ступино, дом продала колхозу. Это теперь и доски-то не ее.

— Так оно, конечно, — соглашалась мать. — Да все равно, сынок, неладно, если они. Евдокия — старуха. Доски смертный припас. Последняя воля. Это уж исстари почиталось в народето. Все станет помирать, Мотя, у каждого будет последняя воля... — доказывала она несмело, побаиваясь, чтоб сын, чего доброго, не обиделся.

Зимой Матвею от матери пришло письмо.

«Здравствуйте мои дорогие, — писала малограмотная родительница. — Сегодня утром получила я вашо письмо которому была сильно рада. А то чегото так скручинилось. Вот и Евдокию Агафиху схоронили. Была у нас третьево февраля и очень плакала. Узнала что ты меня в гости зовешь говорит поедешь дак говорит закажи меня приду домовничать. Влюбое время хоть куда отпушу. Я ведь говорит приду сюда дак мне как родные все. И сама плачет да плачет. Видно уж сердце чуяло. Показнилась что забыла доски взять как переезжала в Ступино. Шипко горевала что потерялись. На бригадира приходила. Мне бы взять да покаяться перед ней а совесно. Смолчала я. Кабы знала что умрет скоро не приняла бы греха на душу. Переночевала она у меня. Утром то я на работу пошла и она со мной пошла. На ростанях еще раз сказала соберешься к Моте ехать дак заказывай меня через почтальенку раньше. А вечером то и померла спокойнехонько как в гости собралась. Семисят четыре годика пожила помаялась тоже на своем

веку. Сказывала мне все что смалолетства как выучилась зыбку качать всю жись в работе. В войну то чугуной бабой сваи била. Камень ломила на дорожном строительстве. Досталось говорить нечо. Я уж и не сулюсь теперь Мотя приехать. Вовсе некого оставить домовничать как Евдокиюшка умерла. У меня все постарому. За конюшну спасибо. Дай бог здоровья. Пока все новости пишите как вы там. До свиданья мама. Восьмое февраля».

Прочел Матвей письмо жене вслух, свернул, положил в конверт и вышел в кухню покурить.

Умерла Агафоновна. Матвей совсем неожиданно поймал себя на мысли, что подумал о старухе сердито: «Семьдесят четыре года прожила... Чего умирать на сторону понесло?..»

Кто она была ему? Никто, чужой человек, соседка, но, не понимая от чего, он разволновался. Курил папиросу за папиросой, думал об Агафоновне, вспоминая, что сам знал, что мать рассказывала. Евдокия часто бывала у нее зимними вечерами, и старухи подолгу говорили друг с другом о своих заботах, думах, снах.

До семидесяти лет Агафоновна ходила на колхозную работу. Не могла без нее, пока совсем не растаяла сила и не сделалась Евдокия для других только обузой в работе.

Ушла на покой. И как-то сразу одолела ее в одиночестве немощь. Начала Евдокия прихварывать, закручинилась. Бывало, рассказывала, не могла день скоротать до вечера. А ночь придет — не спится, все думы точат. Долгая жизнь крутится потихоньку в памяти от начала до последнего дня.

Вспоминается, к примеру, как девкой была просватана за Никиту Кушпелева, который укатил ее из Ступина в свою деревню. Укатил на

сером жеребце с тремя заливистыми колокольцами под крутой харьковской дугой. Пятьдесят три года прошло с тех пор. Уж давным-давно и мужа нет: война съела, в тысяча девятьсот сорок третьем пропал он без вести. С тех пор и жила Евдокия Агафоновна одна, не имеючи детей. Вдовела. И все молилась, молилась исступленно за Никиту, не веря душой в его смерть, ведь похоронки-то не было...

После воспоминаний и долгих дум ох как потянуло в Ступино, на родину, на старину, где пупок резан, где выросла, где когда-то жили бабушка, мама с тятенькой, братья и сестры. Давно все примерли. Давно и родительского крова нет, а вот неудержимо тянет туда, до паления в груди тянет.

И не вытерпела она, продала дом колхозу, уехала в родное сельцо, которое располагалось всего-то в четырех с небольшим километрах. Купила там домик.

Пожила полгода на родине, как на чужбине, и затосковала по своему проданному дому, в котором за пятьдесят три года все, вплоть до последней щепочки, было припасено своей рукой, своими трудами. Только сейчас и поняла, как это все дорого для нее. «Кто-то теперь хозяйничает там?» — думала она...

И каждую неделю Евдокия Агафоновна навещала свою усадьбу. Колхоз так никого и не вселил, никто не соглашался жить на самом краю деревни, за логом, куда в зимнее время и дороги-то не бывает, если не пробьешь узенькую тропочку, а в буранные ночи волки хороводят чуть ли не под окошками.

Придет хозяйка к старому заброшенному дому, походит вдоль ограды, около которой растут пахучая полынь, широкие лопухи да зернистая

лебеда. Мертвая усадьба. Посидит Евдокия на крылечке — раньше она любила здесь, поставив табуретку, заплетать по осени лук в пленички, греясь последним теплом солнышка, — посмотрит на замок, повешенный чужой рукой (должно быть, бригадиром), и зашепчет: «Бес меня попутал. Профукнула дом!» Выйдет в огород, поглядит на изгородь — все-то рушится, все-то валится. Нет догляда.

А кажись, давно ли здесь корова мычала, и крепкая Агафоновна поддевала вилами сено, дрова носила, ругала собаку за то, что рыла яму под амбаром, наверное, крысу чуяла, — мертвешенько все и напоминает больно только о прошедшем. Пролетела жизнь.

Пригорюнится старушка и тихо всплакнет.

Мать Матвея пойдет с ведрами на коромысле за водой на ключ и увидит через лог Евдокию, которая похаживает с палочкой вокруг усадьбы, будто привидение, сторожащее ее, то в огороде, то по покосу, то в ельник спустится. Поглядит соседка и скажет: «Опять Евдокиюшка-матушка пришла. Тоскует».

Обо всем этом рассказывала она Матвею, пока он жил в отпуске. Но тогда он рассказам матери не придавал значения.

А теперь, когда Агафоновны не стало, все, что знал о ней, выстроилось в памяти.

Ночью она приснилась Матвею: будто бы похоронена без гроба.

«Хэт, черт! Полезет же в голову ерунда такая», — размышлял он наутро, проснувшись и не торопясь слезать с кровати.

Через ночь-другую после письма матери приснилось, что Евдокия Агафоновна ходит по своему огороду. А то приснился прируб к старухиной избе. Бревна — толстые, черные, и стены сплошь

увешаны большими, как двери, иконами, писанными на широких досках и окованными позеленевшей медью. И пошло и поехало с тех пор: то родник под усадьбой Евдокии снится Матвею, то ограда, то лог, то изба. И в каждом сне доски.

Эти сновидения преследовали Матвея навязчиво, измучился он от них, осунулся. До того дело дошло — занемог. Но никому не рассказывал, боялся — осмеют. Наконец не выдержал, поделился с тещей, пожаловался, про доски рассказал. Она, тоже немолодая женщина, неожиданно посоветовала сходить в церковь, исповедаться и поставить свечку Агафоновне, искупить вину перед нею, и придет тогда избавление, успокоится душа.

Матвей рассердился: не хватало ему только на посмешище себя выставить.

Думал он, гадал и решил поехать в деревню, к матушке.

Проселок от трактовой дороги тянулся как раз мимо ступинского кладбища, и Матвей зашел к Евдокии Агафоновне на могилу, которую легко отыскал по новому деревянному кресту.

На кладбище было пустынно и тихо. Нежась в ясном небе, мартовское солнце начинало пригревать, и с креста, покрытого шапкой чистого, ослепительного снега, засочились капельки талой воды. Хорошо, умиротворяюще было вокруг.

Матвей подумал, что ведь он знал Агафоновну с тех пор, как стал себя помнить. В детстве, когда жили еще неважно, частенько прибегал к ней в дом. И каждый раз она подносила сухой пряник, слаще которого, казалось тогда, не было ничего на свете. Смотрела, как он грызет, отворачивалась и поскорее уходила к печи, за занавеску, пошмыгивая носом.

Все давно забылось из того времени. И вот

теперь неожиданно вспомнилось. Как солнечный луч в прозрачной талой капле проскользнула в памяти своя коротенькая жизнь, ровная, спокойная. И беспокойство, неизведанное доселе, охватило Матвея.

«Прости, Агафоновна», — прошептал он и торопливо зашагал с кладбища.

НЕУДАЧНЫЙ СЕЗОН

1

Сил хватало пока только для того, чтоб выбраться под вечер к воротам своего дома на скамейку и сидеть здесь, смотреть, как закатное солнышко нежит тайгу на сопках за рекой. С правого высокого берега, на котором деревня Усманиха рассыпала деревянные избы, тайгу было видно широко. В этот час она бывала спокойная и притихшая. Именно такую ее Степан Басаев любил.

И все-таки летняя тайга, да и вообще лето ему нравились меньше. Лучшим временем года для Степы была осень. Ее он ценил за долгую сухую теплоту с умиротворяющим шуршанием листвы под ногами, за плодоноскость, за праздник лесных красок, когда каждый куст, каждое дерево полыхает нарядом.

Она была для Степы всем: кормилицей, местом работы, вторым домом.

От взгляда на заречную тайгу у промысловика ломило сердце. И в такие минуты он начинал побаиваться, что не сумеет поправиться к осени и не выйдет на промысел в одно время со всеми охотниками. Уже июль на исходе, а он так и не научился ходить дальше этой лавочки.

...По весне было дело. Помял Степу медведь-подранок. Думали все в Усманихе, что не видеть парню боле света белого, когда на вторые сутки после схватки с медведем выполз Степа на дорогу, зажимая в руке ножище с засохшей на лезвии звериной кровью. Здесь и наткнулись на Басаева мужики из Усманихи, поехавшие ставить новое зимовье на Манчанском перевале. Но крепок оказался тридцатипятилетний таежник, у смерти из лап выкарабкался, хотя и отвалялся в больнице без малого три месяца.

Глядя по вечерам на тайгу, на сопки, Степа начинал волноваться, барабаня пальцами по скамейке.

— Привет, тайга!

Степа вздрогнул, с досадой подумал: «Ослабли нервишки от хвори, паразиты. Сдают». Подобравшись, он обернулся: по гропке подходил к нему шофер Витюха Рябов. Степа видел, как полчаса назад он пропылил на машине нижней улицей вроде бы к гаражу, везя в кузове каких-то людей.

— Здорово, Витя, — кивнул сдержанно Басаев.

— Хр, ху, утомился. Жарко сегодня было, — пожаловался шофер, который жил через четыре дома от Степы.

— Садись, отдохни, — хлопнул по скамье ладонью охотник. — Гостей, что ли, к кому-то привез?

— Да не-ет, — отмахнулся Рябов, — туристы это.

— Тури-исты? — удивился Степа.

— Аха. Ярославские ребята. Во куда приперлись, а!

— Че эт их через всю матушку-Рассею приволокло? — удивился Степа.

— Отпускники. На плоту будут сплавляться до железной дороги. Днем плывут, ночью спят на берегу, уху варят. Парни — оторви да брось!

Только тут промысловик заметил, что шофер немного навеселе и глаза его маслятся.

— Тебя они угостили? — поинтересовался Степа.

— Ну да, — открылся охотно Рябов. — А сами они — у-у! Ни-ни, сухой, значит, закон у них на время сплава...

— Я не понимаю, чего сюда-то занесло их? Ближе, что ли, рек нету им? Где ты их подцепил-то?

— В Косяках. Ближе, говорят, неинтересно. Романтизьму не стало.

— Да-а, — усмехнулся Степа, — раньше в наши места, говорят, ссыльных по этапу гоняли, а теперь вон поди ж ты — в отпуск люди едут. Времена-то пошли, братец ты мой, какие, а?

— Ну, дак жизнь, Степа, такая, куда ты денешься, — вздернув плечи, развел руками Рябов. — Скоро и зверье твое распугают. Охотиться тебе негде будет.

— Распугают, это уж как пить дать, — согласился промысловик. — Распугают, ежели добрались и до нас.

2

Степан Басаев превосходно понимал, что, чем сильнее будет переживать да расстраиваться, тем дольше не отпустит его хворь. Но не волноваться не мог. Сезон не за горами, не успеешь оглянуться — придет пора собираться на промысел. А какая охота будет, если все лето он то в

больнице валялся лежнем, то вот на лавочке время проснжнвает. Отец, бывало, говаривал, когда Степа мальцом еще был: запомни, сынок, без работы нет охоты.

Немало грамот и ценных подарков получил Степа за последние годы. Около сотни охотников числилось в их промхозе, а никому из них не уступал Басаев первого места. Больше всех выбивал он и соболя, и белки, и харзы. Удачливым промысловиком слыл. Еслн год был кормным, а приплод у зверя богатым, случалось, делал за сезон по два плана. Но не хищничал, знал — тайга этого не прощает. Да и не последний сезон собирался он ходить по своим путикам, который пробил здесь еще прадед.

Конечно, удача была. Но удача удачей, а не будь у Степы меткого глаза, твердой руки, прикладистого ружья да охотничьего чутья таежного, прнлежной выучкой добытого в детстве, да трудолюбивой души — не видать бы ему фарту. Удача, она ведь к тому тянег руки, кто сам к ней идет. Но завистникам этого не объяснишь. И оттого удача порой не радовала.

Да какой он рвач. С десятн годов не снимает ружья с плеча, твердо усвоив, что промысел — это работа. Неустанная работа руками и ногами и конечно же головой. Без головы да без знания звериных повадок не нюхать успеха.

И чему тут собственно завидовать, если он не ленился работать, если он с самой весны, как заканчивалась охота, готовился к новому сезону, собирал по тайге н чинил капканы, прнбирал самоловы, обходил подкормочные площадки, заготавливал всевозможные приманки, материал для новых самоловов. Почти все лето мернл тайгу ногами. И все примечал его наметанный глаз.

Два последних лета и сынишку старшего с

собой уже таскал, обучал охотничьей науке, показывал, как надо мастерить безотказные спуски на самоловах, настораживать капканы, чтоб перехитрить зверя. Доволен он сынишкой, сметливый парень растет. Ружья не боится, от выстрела не сморгнет.

Детей у Степы трое: Валерка, Яша и младшая Вика. Сейчас жена уехала с ними в Комсомольск-на-Амуре, к матери своей погостить.

Нынче успеха не видать, не подготовился он к промыслу.

И откуда он взялся, тот чертов медведь?!

Возвращался Степа тогда с глухариной охоты. Хороших двух петухов взял он в то утро. Можно было и больше — богатый ток. Но больше было ни к чему, не последний раз пришел он сюда. Еще отец, ныне покойный, охотился на этом току. И Степа мечтал тоже передать ток сыну Валерке. Правда, в последние годы стали в тайге появляться люди пришлые, наезжие. Таких завтрашний день не особенно заботил, лишь бы с сегодняшнего сорвать. И опасался Степа, что когда-нибудь наткнутся на его ток. А уж тогда они его за одну весну разобьют в пух и прах. Бывали уже подобные случаи. Знал он и другие тока, но в глухих местах, далекие. А этот, считай по нынешним временам, под боком, близко, и сильный ток — семнадцать играющих петухов подслушал он этой весной, не считая скрипунов.

Ночь на току провести, хоть железный будь — устанешь, конечно. Да и охота была тогда трудной. Плохо токовали глухари, без азарта, погода не способствовала. Вымотался охотник. Но чем труднее охота, тем желаннее добыча. И хотя усталый, но довольный шел Степа домой одному ему заметной тропой.

В том месте сроду не видывал он косолапого. А тут не успел глазом моргнуть, как сграбастал его медведь, облапил. Может, свежую кровь битой птицы почуял голодный подранок, не доспавший в своей теплой берлоге, теперь мучимый гниющей раной и холодной затяжной весной. Кто его мог подранить, кому он помешал? Знал таежник, что опасен и яр такой медведь. Но откуда мог Степа ведать, что именно его выследит лютый подранок и подстережет за распластанным над землей корневищем буреломной ели.

Тогда Степа лишь ощутил, как ударило его по всему телу...

Когда снова увидел свет, то солнышко перевалило за полдень. Лежа на спине, он долго разглядывал раскачиваемую ветром высоко над землей густую сетку веток листвяка, в которых билось трескучее сорочье, а вспомнив, что произошло, перевалился на бок и увидел мертвого медведя. Мохнатой горой он лежал в пятке́ метров от Степы.

Как только память возвращалась, Степа полз вперед. Чудо ли, таежное ли чутье вывели его, но даже ночью он не сбился с верного направления и на второй день выполз к дороге.

Окончательно опамятовался уже на больничной койке, вдо́лги после схватки с медведем. Теперь вспомнилось все ясно и подробно. Казалось, медвежью вонь наяву почувствовал. Самец это был.

Правая рука на какую-то долю секунды опередила набросившегося из засады медведя, инстинктивно ухватясь за рукоять ножа. Не случись этого да не будь зверь истощенным от голода, никогда бы уже не дотянуться руке до пояса. Катаясь под медведем, он направлял лезвие ножа на него, не мог достать уязвимого места.

Лишь слегка натыкаясь на нож, зверь еще больше злился. Степа и сам, подобно зверю, рычал и хрипел, захлебываясь шерстью.

Когда медведь уцепился лапой за ружье на спине и поволок его вместе с охотником, раздирая когтями одежду и тело, Степа, еще не чувствуя боли, резанул по ремню. Ружье освободилось. Почувствовав это, медведь и второй лапой схватил его, но в то же мгновение спохватился, что оплошал, и выпустил человека. Однако было поздно. Степе хватило этого момента, чтобы всадить нож в сердце.

Медведь охнул растерянно, почти по-человечески, и подсел, выронив ружье. Степа еще раз пырнул его и откатился кубарем в сторону. Позже он понял, что в ту секунду ему для этого пришлось собрать все силы, потому что он сразу потерял сознание.

Глядя в почерневшее, осунувшееся лицо жены, мокрое от слез, Степа догадался, что, видно, немало дней и ночей провела Варя возле его больничной койки, пока он опамятовался, если она так изменилась. Она плакала потому, что он пришел в себя...

Дома Степа стал поправляться гораздо быстрее, но все-таки не так скоро, как ему хотелось.

Теперь он частенько вспоминал свое ружье. После схватки с медведем осталось оно где-то в тайге. Жаль было ружья. Пропало, изоржавело за три месяца. Штучной работы оно было, самолично заказывал на ижевском заводе, на свой вкус, на свою руку. Посадистое было, удобоуправляемое ружье, с пригнанной затылочной накладкой. Жаль, эх жаль!

И шкура с медведя пропала, тоже жаль. После все равно надо будет сходить и найти ружье.

Взять и трофей — коготь или клыки, оставившие на теле памятные борозды.

3

— Здоровенько живем, Стяпан Григорьевич!

Хрипло дыша, к скамейке, на которой сидел Степа, подошел дед Евраська, бывший усманихинский кузнец.

— Здравствуй, Афанасий Прокопьевич! — ответил почтительно Степа.

— Оту́тобел, гляжу, батюшко? — спросил дед, опираясь грудью на длинную палку. За ним остановилась, понурив голову, вислоухая, как овца, собака, дряхлая от старости.

— Помаленьку вот оживаю, — ответил уклончиво Степа. — Как у тебя здоровье? Вижу — бегаешь еще бойко. Садись, посиди, побалакаем маленько. А то я тут в основном один, тоскливо.

— Да уж какое там, матко мой, здоровье. Уходят мои годочки.

— Сколько тебе, Афанасий Прокопьевич?

— А на покров, бог даст, девяносто четвертай разменяю. Скоро уж, знать-то, в область преданья пойду. Грудь хрипит, как у горнила протертый мех. Болезь вот меня постигла ишо, йет твою маковку.

— Что так? — спросил сочувственно Степа.

Дед Евраська вздохнул, сошел с тропки, опираясь на батожок, поднялся на бугорок к заплоту, где стояла скамья, и, кряхтя, пристроился с краю.

— Живот тугой, как фульбол, — стал жаловаться старик. — Вот токмо богородской травкой и держуся: попьешь, и легчат маленько. Стаканчик винной нальешь, выпьешь — и отпустит.

— Однако чего-то еще мастеришь? — кивнул Степа на коловорот в руке старика.

— Все хорошо делать, когда сила есть да мозгуешь, — махнул дедка рукой. — Удумал налишники соседу Васютке смастерить. Дом-от поднял он. Да ить без струменту, как говорится, вошь не убьешь. Перки-то нет, центровкой стал было сверлить — колет доску. Перку надо — дырки вертеть, она дерево не колет, а прорезат. Ходил вот в кузню за перкой. Моя жо работа была, ковал когда-то. Дома у меня хороша перка была, да как-тось Федюнька Данилов, сын сучий, попросил и не отдал больше, похоронил. Ну, бог с ним.

Была середина августа, день стоял ясный, но уже не так припекало солнце, по небу шли чередой белые кучевые облака. За рекой, высоко над тайгой, большими кругами плавал ястреб.

— И учен уж, — продолжал Евраська, — нет, неймется: две-то недели не прошло, поди, как опять топор с пилой отдал пареньку. Пришел он ко мне и говорит, что приехали они с самой Ярославли. Надо им плот ладить. По нашей реке поплывут.

— Ну-ну, Рябов их привез, видел я, да он сам рассказывал, четверо их, — оживился Степа. — Так две недели как раз и прошло.

— Так, — согласился Евраська. — Ну, вроде не дашь на такое дело топор какой попало. Я ему, пареньку-то, как путному, плотницкий топор и отдал. Божился, что-де попользуются и принесут. Без топора оставил, варнак. Пила — та плевать, а топор жалко, столярный топор-от, узкой. Да сапкой, как бритва. Легонькой. Теперь уж простился с топором.

Степа вспомнил свое ружье, ржавеющее где-то в лесу. У всякого мастера — свой кормилец,

подумалось ему, у рыбака лодка, у плотника топор, а у него ружье.

— Не принес, значит? — переспросил Степа.

— Нет, не принес,—покачал Евраська сокрушенно головой. — Проходимец паренек-от оказался. Ноне молодые не рассуждают, как станут жить. Ишо кусок хлеба себе не оправдали, а вот... Много, бают люди, проходимцев-от ноне появилось. Ходят по тайге, как диверсанты. Право. Не попадались тебе?

— Нет, — ответил Степа. — Сами-то не попадались... Отдыхал бы ты, Афанасий Прокопьевич, — посоветовал он старику, не желая уж который раз ворошить неприятные воспоминания о подранке. — В твои ли года робить-то уж, а?

— Оно, если разобраться, матко мой, года работе не помеха: по силе и дело найдется, — возразил неожиданно горячо Евраська. — Сызмальства в работе, дак уж не отвыкнешь теперича. Эха! — встрепенулся он забавно. Степа поглядел на него сбоку: незамутнившиеся глаза деда блеснули огнем, морщины бритого лица передавали в этот миг душеприятное настроение старика. — Да, матко мой, сила раньше была. Лошадь ковал на руках, в станок не ставил. Фу-у, бра-ат, — протянул он, прищурив глаза, должно быть окунаясь в воспоминания о своей прежней жизни, — было работушки-то переложено. — Дед повернулся к Степе, поглядел ему в лицо и рассмеялся изношенным, но добродушным смехом, и, удивляясь ясности его памяти, Степа подумал, что ему столько ни за что не прожить. — То коня куешь, то колеса ободьями отягиваешь, скобы тянешь, оси к телегам варишь. За день-от полста предметов, бывало, перегнешь да перекуешь. И день-деньской так. Лупишь и лупишь по железу молотком. Оно, конеч-

но, ручник — молоток не велик, с кило всего-то будет, а оно правильно говорят — теперь отрыгнулось. Боля-ят косточки. — Он потрогал живот-«фульбол», поморщился, но тут же, казалось, и забыл о своей болезни, словно испугавшись, что Степа передумает его слушать и начнет рассказывать что-нибудь свое. — Подков одних сколь надо было. Кругом — все кони делали. Гвоздя подковного не было, в те годы не выпушшали. Сам ковал...

А Степа не прерывал старика.

— Я ведь, матко мой, и подеревщиком работал, сани делал, телеги, колеса. Для этого дерево рубишь на солнцепеке. Если гнуть — мягче. На солнечной стороне ладишь затесь, чтоб не спутать, тут слой тоньше и мягче, а на холодной стороне толше и ломается при гнутье. Тонкости тоже. Я бондырь. И колеса делал, — перескакивал дед с одного на другое. — Чаны делал, обручи на кадушки мастерил деревянные, в замок, держали не хуже железных...

— Афанасий Прокопьевич, слушай, мне вот к зиме надо бы легкие санки сделать. Не возьмешься, а? Я помогу. Ты руководи только, как и что. Вот немного еще поправлюсь и в лес смогу ходить. Что надо срублю, заготовлю.

— Ну, дак, — произнес в раздумье дед, — коли так-то, можно будет сладить. Приходи, потолкуем. И сани я ладил. Начертил, скажем, где копылья долбить. Первый копыл. Второй — под завертку. Штук пять копыльев. А копылья стягиваются вязка́ми из черемухи. Вязки гнутся спереди, чтоб пеньком не сдернуло в лесу... Вот пошел седни в кузню за перкой и в подерёвну мастерску заглянул. Мужики там сидят, полозья гнуть пришли по наряду, а никто не ту́нкат, просидели день, не сделали ниче. По наряду можно

ямы копать... Уголь теперь каменной, вонь одна. Я его не признавал, не годился он в кузнечном деле, деревянным работал, тот в работе нежнея... В лавку-то мы за чекаликами не бегали. Да. Вымирают мастера старые. У тебя батька-то вот какой пимокат был, катанки, бывало, сладит — поглядеть любо-мило. А теперча катать уж некому. Казенные пошли. Обленивел, что ли, народ? Все на готовое расчет держит. Я Васютке-то, соседу, и говорю: «Учись, окаянная душа, столярничать! Пока я жив — подскажу». Ремесло-то нехитрое, а пригодится, только руку надо приложить. Вот налишник: перкой просверлил, потом змейкой выпиливай. Можно чарвонки делать, можно звездочки, каку хошь узорку или фигуру. Не-ет, матко мой, не хочет. Ладно, думаю, допреж смертыньки, пока брожу, помаленьку-потихоньку слажу ему хоть один налишник. Эть до чего дед дожил — стыдно внукам сказать: много ли с тобой побаял, а уж и духу нет, лишился.

Евраська замолчал и сник, погружаясь в свои мысли. А нелегко, должно быть, жить одному в такие годы, подумалось Степе. Насчет внуков Евраська просто пошутил, нет у него никого. А старик, словно подслушав его думу, встрепенулся:

— Вот, матко мой, девяносто третий годок живу, а все не могу нажиться. Хошь и кости старые и уж о земле взывают, а ноги вдоль лавки протягивать неохота. Ну, да-ть от смерти, говорят, не отмолишься, как придет.

— Кому ж охота умереть, Афанасий Прокопьевич, — проговорил Степа с усмешкой. — Я раньше тоже не знал, как сильно любится жизнь, когда смерть по плечу хлопает. Теперь вот как на войне побывал.

— Не дай-то никому бог! — потряс Евраська

головой. — Я вот долго пожил, много повидал. Человек думает: «Распоряжаюсь своей жизнью, как хочу». А навалился медведь — и каюк пришел. Или Володька Ляхин начал вон колодец чистить, а там газ. Спустили живого, а достали покойника. Вот и выходит, что наша власть над жизнью до случая, пока не оплошал.

4

Еще по чернотропью изготовил Степан Басаев новые лыжи, загнул, просушил, обделал, обил их камусом — короткошерстным мехом с лосиных ног. А как выпал снег, стал промысловик на лыжи, начал ходить в ближнюю тайгу, тренировать тело, приучать его к работе, к нагрузкам.

Лишь к середине сезона он почувствовал в себе достаточно силы, чтоб выйти на промысел. Зима в этом году выдалась вялая, без привычных холодов (лишь вначале недолго потрещали крепкие морозы), но снег валил и валил на диво, под самые крыши подперло.

У Степы было все готово к отправке на зимовье. И хоть налилось тело крепостью, а все откладывал он выход в тайгу со дня на день, словно боялся, словно голос слышал внутри себя, который внушал: не ходи, поостерегись. Степа досадовал на себя, что после встречи с медведем стал он подозрительным и осторожным, но и переломить этого навязчивого чувства не мог. Да еще и Варя отговаривала, что и так-де проживут, картошка есть, мясо есть, и ладно, а денег на хлеб да сахар хватит и от ее зарплаты.

Однако оттягивать дальше было некуда. Через полтора-два месяца — конец промыслу. Надо выходить срочно, можно еще половину плана сделать по соболю, на большее рассчитывать не приходилось. И Степа стал грузить вещи, про-

дукты на санки, похожие, скорее, на нарты, которые сладили они с дедом Евраськой.

Встал он рано утром, чтоб добраться до своего зимовья засветло и к ночи успеть обиходить его.

Варя, накинув полушубок, вышла проводить, открыла ворота, спросила заботливо:

— Не забыл, Степ, ничего?

— Да вроде бы нет. — Охотник окинул взглядом легонькие санки, прицепленные к снегоходу, подергал плечами, встряхивая котомку за спиной. — Кажись, все уложил, было время приготовиться, — улыбнулся он натянуто.

Варе показалось, что он волнуется перед дальней дорогой сильнее обычного. Она смотрела на своего сероглазого Степу, невысокого, но широкоплечего и коренастого, немного ссутулившегося и нахохлившегося от неуюта раннего утра. Из-за той таежной неизвестности и опасности, в которую надолго уходил близкий ей человек, накатил на Варю прилив нежности, она обняла мужа и крепко поцеловала его.

— Что ты? — удивился Степа. Поглядел ей в лицо и смутился, заметив, что в глазах у Вари стояли слезы. Сердце его дрогнуло, и он приобнял жену, похлопывая по ее плечу и приговаривая: — Ниче, Варя, нормально все будет... Ниче...

Все было известно и обговорено в последние перед выходом дни, но, чтоб отвлечься и успокоиться, Варя спросила еще раз:

— До конца-то сезона домой не будешь?

— Не буду, — ответил Степа. — Если все нормально пойдет.

Потому что было в этом году упущено время, он решил не приезжать даже на Новый год, до которого оставалось не так уж и много времени. Но Степа обещал прислать весточку о себе с

Андреем Лапиным, который на новогодний праздник выйдет из тайги, его угодья по соседству со Степиными, и в ближайшие дни они обязательно должны встретиться на дальних путиках. А если и не встретятся, то есть там у них одно дупло почтовое, к которому они обязательно заворачивают, проходя мимо, и оставляют записки.

Степа завел мотор, уселся поудобнее, неторопливо и старательно завязал у шапки тесемки, махнул на прощанье рукой и выехал из-за освещенной ограды. Варя вышла следом за ворота.

Рассекая темноту лучом фары, «Буран» бойко и легко побежал под уклон улицы. Скоро рокот его мотора растворился вдали, но долго Варя видела за селом на реке маячивший свет. Усманиха и не думала еще просыпаться. Вздохнув, Варя пошла в дом. Она чувствовала, что ей уже больше не заснуть, и не стала ложиться, а принялась растапливать печь. Яша и Вика спали праведным детским сном. Шестиклассник Валерка неделями жил в Косяках, в школе-интернате.

Вначале Степа ехал по дороге, проложенной по льду реки, но она, миновав камень «Баранья голова», отвернула влево, выползла с реки на пологий берег и ушла в тайгу. А его путь лежал прямо, все вниз по реке, и дальше он поехал вцелое. Лед был покрыт толстым и рыхлым слоем снега; съехав с дороги, «Буран» в нем сразу осел, закряхтел мотором, поднатужась всеми двадцатью восемью лошадиными силами, пошел вперед тяжело и неторопко. Светало, и Степа выключил фару. Погода стояла тихая и теплая.

Снегоход то и дело зарывался, загребая под брюхо снег. Мотор тогда ревел от нагрузки, и ремень вариатора пробуксовывал. Приходилось

часто слезать и отаптывать сугроб, отгребать снег. Только после этого «Буран» полз дальше, метр за метром преодолевая таежную несмятую перину, пробираясь вперед немного скорее пешего хода. Изнурительной была эта езда.

Уже восемь часов пилил он на снегоходе, проходя час за часом километров по девять. Выбираясь из очередной ловушки, услышал, как мотор снегохода неожиданно взревел на холостых оборотах, а сама машина замерла на месте. Охотник сразу понял, что случилось — полетел ремень вариатора, — и не особенно удивился, лишь сильно поморщился от досады.

Заглушив мотор, он сдернул капот и увидел измочаленный, порвавшийся ремень.

«Вот черт!» — выругался невольно Степа в сердцах.

Славная машина «Буран», удобная для многоснежной тайги, быстрая, но не любит и не переносит она рыхлого да мягкого, как сегодня, отсыревшего снега. И тогда быстро изнашивается и рвется ремень вариатора. Последний, пятый ремень поставил Степа этой зимой на вариатор. И уж никак не думал, что так скоро превратится он в мочалку. Должно было хватить ремня на пробег до зимовья и обратно. А по тропам ходить — одно средство — лыжи. Там «Буран» не нужен. Санки с поклажей большой помехой оказались в таком снегу для машины, дополнительная нагрузка легла на ремень, вот и не выдержал.

Степа подумал-подумал и решил поесть вначале, время уже было обеденное, а до зимовья еще оставалось километров около пятнадцати. Так или иначе, а придется идти дальше на лыжах и подкрепиться надо. Басаев заметно устал.

Видать, долгая хворь все еще давала о себе знать быстрой утомляемостью.

Однако Степа не очень-то огорчился. Потомственный охотник, он знал, что в тайге разное бывает, это естественно. Всего не предусмотришь, но готовым надо быть ко всему. Пусть «Буран» остается здесь пока, а сам он и на лыжах засветло добежит, взяв с собой самое необходимое. За снегоходом он еще вернется, никуда он здесь, в тайге вековечной, не денется, кругом — лес да снег непроходимый и ни одной человечьей души. На зимовье, помнится, должен быть хоть и изрядно поношенный, но еще годный ремень. Степа придумает что-нибудь, может, как-то подремонтирует его сыромятью.

Перекусив, он надел лыжи, закинул за спину котомку, повесил на плечо старенькую двустволку, в общем-то отслужившую свое время, но еще способную послать заряд довольно точно, и двинулся вперед неторопливо, расчетливо, стараясь экономить силы.

В сентябре Степа побывал на том месте, где на него напал медведь. Отыскал ружье. За лето оно вросло в траву да в землю. Испортилось бесповоротно. Медвежий скелет еще не весь распался. От одного взгляда на эти кости пробирала дрожь. Степа хотел пнуть череп, но передумал. Два когтя взял на память. Дома смерили их, один был восемьдесят три миллиметра в длину, другой на два миллиметра больше.

5

Утром третьего дня, после того как Степа уехал на зимовье, Варя управила хозяйство, определила младших ребятишек каждого до своего места — Яшу в школу, Вику в ясли — и вышла

к воротам своего дома. Нахмурив лоб и сжав тонкие губы, отчего лицо ее сделалось еще скуластее, она задумчиво и долго смотрела вдаль, где терялась в изгибах зимняя река, по которой ее Степа уехал на промысел. Какая-то безотчетная тоска томила Варину душу.

Варя вздохнула озабоченно и пошла неторопливо вдоль улицы, временами приостанавливаясь ненадолго и словно решая что-то про себя. И видимо, решив, зашагала вдруг быстро и уверенно.

Свернула она с дороги у ограды Василия Молокова, соседа покойного старика Евраськи.

Василий разбирал во дворе сено и отметывал его на сеновал.

— Здравствуй, Василий Ильич!

— Здравствуй, алмазная! — ответил он с озорством в глазах.

— Слушай, Василий Ильич, у тебя «Буран» на ходу? — спросила Варя.

— А что? — насторожился он, мгновенно посерьезнев.

— Ну, скажи, на ходу? — допытывалась Варя.

— Допустим, — ответил он с напускной недоброжелательностью. — А дальше?

— Василий Ильич, — переключилась Варя на проникновенный тон. — Ой, что-то у меня сегодня сердце не на месте! Не беду ли чует оно? Меня сердце теперь не обманет. Когда на Степу медведь напал, я и тогда беду чувствовала, да не поверила в нее. А теперь ученая. Как хочешь — свези на наше зимовье!

— Да ты че, Варька?! Чумная, что ли? — побледнел Василий Ильич.

— Сердце недоброе чует...

— Вот заталдычила: сердце, сердце! Нашла барометр.

— И сон мне сегодня нехороший приснился, — не унималась Варя. — Будто бы целуемся мы со Степой и нацеловаться не можем.

— Нет, не поеду, — покачал Молоков головой. — Ты меня, Варвара, извиняй, не поеду. Не могу.

— Вот не думала я, Василий Ильич, что шибко ты расчетлив на добро-то. — Она повернулась и пошла прочь, но, увидя на оградном окне резной наличник, про который не раз слыхала и от мужа, и от других людей, остановилась, обернулась: — Дедушка Евраська перед смертью был, а и то вот не считался.

Хозяин закусил в обиде губу, глядя вслед зловредной бабенке. После ее ухода он сел на чурбан для колки дров, закурил. Взгляд невольно упирался в этот наличник. Как упрек безгласный красовался он на своем видном месте, тревожил совесть.

— Ах ты, лихорадка стамбульская! Изрубить тебя, что ли? — рассердясь, спросил у наличника Василий. — Что, напрашивался я к Евраське, чтоб он тебя делал? А? Если ему, как Варьке вон, блажь в башку полезла. Ну, тому-то ладно, под сто годов было. А эта ведь, бесовка, молодая совсем, — вздыхал он, вставая и вновь беря в руки вилы. — Чего ты расселась тут, как Параскева-Пятница! — закричал Василий на дряхлую собаку, оставшуюся от деда Евраськи, который завещал ее не изничтожать. — А ну-у, пошла отсюдова, а!

— Вася-я, не обижай собачку. Она сирота! — зашумела от амбара жена, выходя из него и притворяя дверь.

— Да не трогаю я ее! — огрызнулся сердито

Василий. — Всех готова, понимаешь ли, приветить, р-развели богадельню, п-пхынимаешь, — бормотал он.

Действительно, Лиза его была сердобольной женщиной, и это не нравилось Василию. Мало того что Евраську, пока тот жив был, обстирывала, кормила, так еще собаку эту не задень. Нашли сироту.

— Вроде я голос Варвары Басаевой слышала. Чего она до нас прибегала? — спросила Лиза, неся в руках кастрюльку соленой мороженой капусты и грузно отпыхиваясь.

— Да так, — поморщился Василий, зная, что от ушей и глаз жены ничего не укроется и так или иначе придется рассказывать ей правду...

Дома Варя даже всплакнула от бессилия. Не пойдешь же пешком за восемьдесят пять километров. Была б дорога да жилье на пути. А так — сгинешь в снегах.

Под окном протарахтел мотор и смолк. Варя насторожилась. На крыльце, а затем и в сенях послышались шаги, кто-то зашарил по двери рукой, нащупывая скобу. Варя торопливо вытерла платком заплаканные глаза.

Вошел Василий Молоков, одетый по-дорожному.

— Собирайся, кума, поехали! — мотнул он повелительно и сердито головой.

Варя глядела, разинув рот.

— Собирайся, собирайся! — поторопил он строго, по-деловому оглядывая просторную избу Басаевых. — Ишь, уж и слезы успела размазать.

Варя сорвалась, схватила с полатей ватные брюки и убежала с ними в комнату.

Поверх брюк натянула теплые унты, которые сама шила из выделанной лосиной ноги. Накинула полушубок, опоясалась ремешком с чехлом из кожи, в котором торчала потертая рукоятка ножа.

— Ишь ты! — удивился Василий, наблюдая за ней. — Заправская охотница. Поесть токо не забудь прихватить.

— Не без этого ж! — ответила она.

Положила в котомочку изрядный кусок жирной, чтоб не замерзла, свинины, хлеба, сахару, а в карманы брюк — пару луковиц. Секунду поколебалась, достала из припечного шкафа чекушку женьшеневой настойки и сунула за пазуху.

— Василий Ильич, погоди минуточку, я до соседей сбегаю, Лукояновне накажу, чтоб за ребятами присмотрела в случае чего так, — попросила она, закладывая в кольцо ворот снаружи палку.

6

Переставляй и переставляй знай ноги, ровно и без буксовки бегут широкие легкие лыжи, оставляя за собой две неглубокие дорожки. Ходьба на лыжах была спокойнее, чем езда на снегоходе, не изнуряла психически.

И ясный-то день в декабре короток, а облачный и того короче. И скоро начал он мутиться сумерками. До избушки оставалось еще километра три. Уже вырисовывался вдалеке мысок излучины, обогнув который Степан должен был выйти, так сказать, на финишную прямую, где долина реки сильно расширяется, сопки становятся положе и расступаются дальше, и чем ниже, тем сильнее начинает река извиваться, образуя кри-

вуны, разбивается на протоки, острова между которыми густо поросли тальником, ольхой, черемухой, камышом.

Но все это ниже, а здесь, где Степа шел теперь, долина сужалась, сопки подступали к самой реке, крутые берега, поросшие столетними замшелыми елями и высокими кедрами, сдавливали русло, и оттого в этой теснине было уже совсем сумеречно. Но течение здесь было тихое, потому что река имела большую глубину.

Степа лишь удивлялся, как в этом месте много набухало нынче снегу. Он чувствительно устал, но теперь поторапливался, предвкушая уже недалекий отдых в избушке возле протопленной жарко печи.

Зимовье было поставлено здесь еще прадедом Усманом, когда он был в расцвете сил, лет девяносто назад. Дед же, зять прадеда, женатый на его дочери, охотился позже вместе с прадедом. Он после и рассказывал об этом Степану, когда сам был глубоким стариком. Места вокруг захламлены замшелыми колодинами умерших деревьев, изрезаны ручьями и речками. Прадед и проложил здесь от большой реки первые тропы, уходящие в кедрачи, богатые кормом и зверем, который в то далекое время водился тут в изобилии. В долинах, распадках, на склонах обитали изюбры, кабаны, кабарга, росомаха, рысь, медведь, тигр. В реке много было рыбы и выдры. А уж о белке, бурундуке, соболе да харзе и говорить нечего. Но было это давно, до истребительного нашествия человека, до массовых вырубок лесов.

Избушка со временем осела заметно в землю, но бревна в стенах при ударе по ним обухом топора еще звенели. Лишь окладники, нижний ряд, сгнили, да и то наполовину. Оклад был

сложен из толстых лиственничных бревен. Да крышу, крытую кедровым корьем, перебирали и дед Степы, и отец, и уже сам Степа поправлял ее. Ну да тут дело немудреное: наснимал смолистого корья со стволов, уложил в два ряда на крыше и прижал лесиной, никаких гвоздей не надо.

7

Как пять пальцев знал Степа тайгу, изучил повадки всякого зверья, способы охоты на него. Умел он выследить соболя по следам на снегу, по сбитым с веток снежным комочкам, хвое, по едва приметным чешуйкам накрошенной коры. Бывало, никакая мелочь в тайге не проскользнет мимо Степиных глаз, все-то он приметит.

Но сказывают в народе, случается проруха и на старуху. Глубокие снега, завалившие в этом году реку, не дали ей промерзнуть, согрели ее, и кое-где вода попроедала в тонком льду полыньи. Из-за усталости да сумерек не заметил Степа такую ловушку. И перепугаться-то не успел, лишь дальней мыслью, с таким ощущением, что она рождается в затылке, понял — падает. Инстинктивно Степа рванулся в сторону. Однако было уже поздно: снег обломился, и он, повалясь на бок и цепляясь руками, медленно, но уже неотвратимо, задом наперед сполз в пропарину.

Лишь вместе с ледяной водой ожгла его паническая мысль, что отсюда ему самому не выбраться, а на помощь здесь никого не позовешь. Внутри словно сильный электрический заряд проскочил, от которого все оцепенело.

Затянутый пояс какое-то время не пускал во-

ду под полушубок, воздушный пузырь на спине помогал удерживаться на поверхности. В унты с ременными перетяжками вода просачивалась медленно, и это также помогало.

Первым делом он выкинул на снег ружье, потом завел правую руку под котомку и отцепил крючок у плечевой лямки, она тут же перевалилась и повисла другой лямкой на предплечье левой руки. Степа выкинул котомку на снег: в случае чего, так хоть по ней найдут место... Скоро одежда пропиталась водою и потянула вниз. Заломило тело.

Одна лыжа слетела, когда он падал, вторую он стряхнул уже в воде, и она всплыла. Лыжи и помогли ему выбраться. Не помня себя и не веря в спасение, он отполз от пропарины, не давая себе передышки, сорвал набрякший полушубок.

Последний отрезок пути оказался для него невыносимо тяжелым. Проваливаясь в глубоком снегу, Степа шел, падал, полз, вставал и снова брел вперед, шаг за шагом приближаясь к избушке. Какой-то километр оставался до нее. А там он уже не пропадет, там спасение. К вечеру поднялся ветер, он тянул обычным своим путем — вдоль реки, по долине — и теперь пробирал и сморaживал мокрую одежду. Леденея, она сковывала движения. Ноги едва гнулись в коленях. Степа был как в футляре.

Он сбросил все, что можно, и лишь нож, отцепив с пояса, сунул за голенище да котомку волок за собой. Сшитая из плотного брезента, она едва ли могла промокнуть за короткое время, а в ней сухое белье, носки, еда, лекарства, свечи, неприкосновенный запас спичек в непромокаемой упаковке.

Совсем уже рядом избушка, не больше чем

в полсотне метров чернеет она в темноте. Теперь он все равно доползет, хватит сил.

На слабеющих ногах Степа прошел вдоль стены, держась за нее, обогнул угол, нашаривая дверной проем. Однако рука в том месте, где должна быть дверь, провалилась в пустоту. От неожиданности он вздрогнул, почуяв неладное. Двери не было. Держась за косяки, он просунулся вовнутрь, но в темноте ничего невозможно было увидеть.

Ввалился в избушку, выпустил котомку, прошел к полке, щупая ее. Лампы не было, спичек тоже. Споткнувшись в потемках о собственную котомку, пробрался с вытянутыми руками к столу, лампа была тут, в ней булькнуло немного керосина, но спичек он не нашарил. А время уходило, и Степа чувствовал, что если не разведет немедленно огонь, то и здесь может замерзнуть.

Остро отточенным ножом он провел по горловине мешка, отрезав ее, вывалил все на пол, добираясь до непромокаемого мешочка со спичками. Задеревенелые руки не слушались, и он не мог вскрыть его. Ползая на четвереньках по полу, Степа в отчаянье шарил пальцами, ища нож, который только что выпустил из рук. Разрезал и мешочек. Разворотив коробку, ломая спички, он пытался зажечь их. Наконец ему удалось это сделать, он засветил лампу и огляделся.

«Мать честная! Какая собака здесь побывала?!»

С недоумением он осмотрел разоренное нутро зимовья.

«Господи! — забормотал он. — За что такая напасть на меня! Что сделал я худого! Что! Что? Что? — вопрошал он в исступлении. —

Ну, нет! Хренушки! Мы еще поборемся!» — закричал Степа в ярости.

Он снова стал торопливо рыться в вываленных из котомки вещах. Найдя бутылку со спиртом, отхлебнул несколько глотков. Степа спешил. От остова разломанных нар стал стругать щепки. Прошелся нечаянно по самокованому гвоздю, торчащему из поперечины. Вспомнил деда Евраську, старого кузнеца, разговор с ним летом возле дома своего. Четыре месяца прошло с тех пор. Умер Евраська осенью. И верно, что не отмолишься от смерти, как выйдет срок. Наличник, однако, успел он смастерить. Оставил по себе последнюю память старик. Хороший наличник получился, Степа видел. Как он тогда говорил, Евраська-то, хрипя одряхлевшей грудью: «Девяносто третий год живу, матко мой, а не могу нажиться, неохота в область предания».

А что, разве ему, Степе Басаеву, хочется туда в тридцать пять лет. От Вари, от Валерки, от Вики с Яшей. Нет, он еще должен весь свой опыт зверолова передать Валерке, сделать его настоящим таежником. Хотя нынче редко кто из детей охотников принимает из рук в руки отцовское ружье и не дает зарастать отцовским путикам. Но он свой долг исполнит. Должен исполнить.

«Нет, гадина, просто так я себя не отдам в твои костлявые пакли!» — ворчал Степа, обращаясь к воображаемой смерти, которая, казалось ему, незримо стоит где-то тут, в избушке, ожидая его кончины.

Накромсав щепы, он выгреб из печурки куски обрушенной глины, затолкал туда щепки. Сухие и смолистые, они занялись сразу.

Однако наколотые ножом щепки — не дро-

ва, скоро прогорят. Степа прополз в угол, отвернул половицу, под которой хранились капканы, лопата, топор, веревки, рогожа, вилки для натяжки шкурок и прочее охотничье барахлишко. Здесь ничего не было тронуто.

Он сорвал со стены полку и, разбив ее топором, побросал в огонь. «Кто же здесь погостил?» — думал он, стягивая унты и оледенелую одежду. Кинув перед печью рогожу, уселся на нее и стал переодеваться в сухое белье, растирая тело руками. Еще хлебнул спирта.

Переодевшись и растерев себя, он оторвал от пола возле печки железный лист, согнул его, придав более-менее подходящую форму, и накрыл дыру над топкой. Как в бане по-черному, дым плавал в избушке на метровой высоте от пола.

Из сугроба, что надуло в избушку через дверной проем, он набил в чайник снега и поставил его греть. К этому времени дым вытянуло до уровня притолоки, и Степа завесил дверной проем рогожей. Снятую одежду растянул на вешале сушить, над печкой подвязал обувь.

В том углу, где под лежаком стоял ящик с запасом продуктов, пол был выбелен мукой, какой-то зверь, наверное росомаха, побывал здесь, мука была вся съедена, сухари тоже, в пыли валялись банки с консервами. Ватный матрац был изодран в клочья. Единственная плаха осталась от лежака, и Степа принялся пилить ее и колоть на дрова. Только теперь он почувствовал, что его пробирает наконец тепло. Но Степа понимал, что это еще не спасение.

Между тем в избушке повеяло жилым духом. Набиралось постепенно тепло. Несколько раз он добавлял в чайник снег. Наконец вода вскипела. Степа заварил сушеной малины, подождал,

пока она напреет, и стал пить чай. Решил сегодня ничего не есть, чтоб организму легче было изгонять простуду. Исходя пóтом, он выдул весь чайник и поставил на огонь второй.

То, что просыхало из одежды, сразу же натягивал на себя. Сейчас надо было укутаться. Постель осталась на санках снегохода. Степа подтащил тяжелый низкий стол к самой печке, расстелил на нем обрывки матраца, погасил лампу и улегся. Было тепло, но жестко.

Вроде бы неплохо чувствовал он себя. Только бы не заболеть. Завтра же он сходит за полушубком, ружьем и лыжами. Уладит печку и займется изготовлением двери-времянки. Натешет плах из сухостоя. А может, дверь целая, не сожгли ее, не унесли, а бросили, сняв, тогда он отроет ее из-под снега и навесит.

Среди таежников ходили слухи в последние годы о подобных бессмысленных разрушениях. Мысль об этом не давала заснуть. Все его охотничье существо не могло и не хотело понимать этого попрания первой охотничьей заповеди: нельзя трогать в тайге чужого продовольствия, лишь при особой нужде прощается это. С незапамятных времен утвердила жизнь этот закон. А тут пришли люди и, должно быть, от нечего делать устроили полный разор. Как это простить?

«Вот гады! Вот гады. — стонал он, скрежеща зубами, и сердце заходилось от обиды. — Сжечь бы вас, гадов, заживо на огне за такие проделки!»

Но спохватываясь, он содрогался от своих жестоких мыслей и старался смягчить их, понимая, что сам пострадал через чью-то жестокость. Но трудно было на дурное заставить себя ответить добрыми мыслями.

Проложенный Степой след затвердел, и по готовой дороге снегоход Василия Молокова бежал бойко и легко.

Увидев Степин «Буран», Варя едва не лишилась чувств. И только когда выяснилось, что дальше ведет лыжный след, успокоилась немного. Василий же, заметивший по дороге, сколько раз Степа зарывался в снег, безошибочно и сразу определил причину: ремень порвался.

— Жив-здоров твой Степаха. Сидит, поди, наворачивает кашу с салом и в ус не дует. Лихорадка стамбульская! А ты уж и развела-а... — ворчал он.

Между тем Василий отвязал с санок оставленного снегохода канистру с бензином и стал дозаправлять бак своего.

— Может, все ж таки доедем до зимовья, — неуверенно попросила Варя.

— Теперь уж как не доехать. Доедем. Обязательно доедем, — отвечал Василий, отлив половину бензина и закрывая канистру. — Стрясем со Степки магарыч. После ведь не поверит, расскажи, что ездил из-за него сюда.

В нескольких местах снег был умят, кругом обвивались цепочки росомашьих следов, но к машине звери не рискнули подойти.

Поехали дальше. Высматривая маршрут, чтоб не залететь случайно в пропарины, которые стали изредка встречаться, Василий пристально глядел вперед. Что-то зачернело впереди на снегу, будто зверь лежал какой. Он даже привстал за рулем, стараясь определить, что там такое.

Подъехав ближе, они увидели полынью, у которой обрывалась лыжня, а на другой стороне — брошенные обледенелые лыжи и ружье,

дальше валялись полушубок, который и принял Василий за зверя, шапка, рукавицы. В рыхлом снегу тянулась глубокая борозда.

Варя не могла вымолвить слова. А Василий поглядел и проговорил растерянно:

— Нда-а. Вот лихорадка стамбульская!

9

Всю долгую ночь Степа топил печурку, прогревая избушку, чтоб не угореть, когда закроет трубу. Подремав, он вставал, подбрасывал дрова и снова ложился. Лишь под утро, закрыв трубу и не вставая больше, Степа постепенно разомлел, расслабился, усталость взяла свое, и он заснул крепким, глубоким сном.

Спал он долго, и, чем ближе к пробуждению подходило время, тем сильнее и неотвязчивее мучили его во сне кошмары, один сменялся другим. Иногда они повторялись. И чаще такой: из тайги выползает удав невиданных размеров, в длину он метров пятьдесят, в толщину — полметра. Он подползает к избушке и заглядывает в окошко. Но в окошко ему не пролезть, и Степа с ужасом думает, что сейчас удав начнет оползать избушку кругом и, обнаружив, что нет двери, вползет в нее.

Проснулся он поздно, с трудом, и сразу понял, что горит жаром. Тепло из избушки вытянуло, пока он спал. Но не было ни желания, ни сил подняться и снова растопить печь, нагреть чай и чего-нибудь поесть.

Он лежал большой тряпичной куклой, как будто за время сна кто-то коварный повыдергивал из него все мышцы. Даже веки были такими тяжелыми, что не хватало сил их разомкнуть.

К полудню он все-таки сполз со стола и

встал. Но тут же почувствовал, что теряет равновесие и падает. Он отставил ногу в ту сторону, а сам наклонился на другую, и тут же ощутил, что падает теперь в эту сторону. Так он пытался утвердиться на ногах и не мог. Его бросило в сторону, и при падении он ударился головой о стенку.

«Что это я лежу лежием, — подумал он тягуче. — Неужели за смертью шел в такую даль...»

Через некоторое время он, сидя на полу и упираясь в него одной рукой, пилил половицу, которая служила ему ходом в подполье. Плаху от лежака он сжег за ночь, а стол решил пока не трогать. Все-таки лежанкой служит и сделать его труднее, чем новую прибить половицу. Но с другой стороны, из-под пола тянуло в дыру стужей. И так плохо, и эдак выходило нехорошо.

Отпилив кусок, расколол его на полешки, от одного нащипал лучинок и развел огонь.

Сидел перед ним и смотрел на пламя, которое обвораживало теплом и светом, загадочной пляской язычков. Часы стояли, должно быть, он забыл завести их. Вначале он думал, что утро, но пока пилил дрова и разводил огонь, стало темно, значит, был вечер. Но то ли день прошел, то ли два, Степа не мог определить. Ему казалось, что здесь он уже очень давно, наверное, от одиночества и безмолвия так казалось. Незаметно он впал в полуоцепенение. Дыхание было хриплым, в груди горело и сдавливало от нехватки воздуха. Такое ощущение он пережил однажды в армии, когда бегали кросс в противогазах.

Надо же, как бестолково все получилось. Неудачный год. Он перебирал в памяти все свои охотничьи дела, не было вроде вины у него пе-

ред тайгой, за что такие напасти? Весной подранок напал, и лето Степа проболел. Позже всех вышел на промысел, и тут череда неудач: ремень у снегохода порвался, пешком пошел — в пропарину угодил с усталости, добрался до избушки — разор в ней. Не хватало Степиного сердца перенести это. Будь с избушкой все в порядке, разве он, молодой, сильный, поддался бы болезни. Да ни за что она не свалила бы его.

10

Подобрав возле полыньи вещи, Василий и Варя подъехали к зимовью. Оставили снегоход у берега (тут надо было прогребать для него выезд в снегу, а сейчас не до того), а сами пошли к избушке пешком. Варя, взволнованно дыша, вглядывалась в избушку, стараясь определить, не курится ли из трубы хоть легкий дымок. Дыма не было.

Отвернув рогожу, которой был завешен вход, Василий вошел, не отпуская рогожу, чтоб было светлей, пропустил Варю, огляделся.

— Ого! — воскликнул он тихонько.

В избушке было холодно. При дыхании изо рта клубился пар. Степа лежал на столе, на правом боку, голова его была подогнута, ноги подтянуты под себя, руки поджаты к груди, тело скрючено.

«Неужто покойник? — содрогнулся Василий. — Неспроста у тебя, Варюха, смута на душе была».

Варя с опаской приблизилась к столу. Дотронулась рукою до Степиного лица. Ссохшиеся губы его дрогнули.

Василий соображал, что ему сейчас надо

скорее мчаться к Степиному снегоходу, сбрасывать все с саней и возвращаться сюда с ними.

Варя открыла широко рот, хватанула с подвывом воздуха, сколько могла, внутри у нее все затряслось, колени подломились, она упала на них и, обхватив мужа, зарыдала.

У Василия неожиданно защипало в глазах. Невольно он почувствовал уважение, восхищение, почтительную зависть к этим людям и ощутил свою малость перед ними.

ГЛУХАРИНОЕ УТРО

1

Вернулись на утренней зорьке. Василий Кротов закатил «газик» во дворик, глухой, но просторный, и сразу выключил мотор. Пошел запер быстро ворота, оглядел в оба конца пустынную улицу. Еще ни одна печная труба не курилась дымом в этот ранний час. Прислушался. В праздничное утро поселок спал крепко и беззаботно. И было тихо, как в лесу. Безмолвие это оглушило Кротова. Только теперь он поверил окончательно, что все сложилось благополучно. Напряжение, всю ночь тайно мучившее его, мгновенно прошло, и по телу сразу разлилась усталость. Смежив веки, Кротов жадно вдыхал утреннюю прохладу, улыбаясь удаче, отмякая. Затем неторопливо вернулся через калитку во двор.

— Что? — спросил Семен Михеев.

Кротов улыбнулся и показал ему большой палец, победно вздернутый кверху. Михеев както суеверно поморщился, что совсем развеселило Кротова, и неловко выкатился со вздохом из кабины, громко хлопнув дверцей.

Открывая боковой борт, Кротов цыкнул на приятеля, но беззлобно.

Они быстренько скинули на землю хворост, стряхнули сор с брезента и отогнули край, приподняли полиэтиленовую пленку, окровавленную снизу. Застыли в неподвижности. Некоторое время молча смотрели.

— Нормально, — сказал наконец Кротов. — Понесли.

Складывали лосятину в погреб на лед. У Василия Кротова было их два, оба бетонированные, с электрическим освещением. В одном, что на видном месте, он хранил овощи, а другой, в сторонке, держал всю зиму открытым, намораживая лед, и запечатывал лишь с наступлением весеннего тепла. Лед, присыпанный опилками, «потел» здесь почти до следующей зимы. Обычно погреб этот пустовал, но иногда ледок в нем бывал обильно завален дня на два свежей рыбой, пернатой дичью, или, как сегодня, мясом. После какую-то долю добычи уже небольшими частями Кротов отправлял за сотни и больше километров. Связи Василий уважал и поддерживал.

Лосиха была средней для весны упитанности, но матерая, центнера на четыре с лишним, одна ляжка килограммов, пожалуй, на семьдесят потянет. И, примериваясь к ней, Кротов кивнул Семену:

— Кусманчик отхвати, побалуемся свежатинкой.

Спрятав тушу, ружья, они замыли кузов водой, убрали хворост и отправились в летнюю кухню. Хозяин бросил кус мяса в тазик и начал раздеваться.

Михеев давненько здесь не бывал и, снимая куртку, с любопытством огляделся. Кухню толь-

ко называли летней, потому что зимой в ней готовили редко, на самом же деле это был капитальный флигель, со стенами кладкой в полтора кирпича. Внутри обстановка была неброская и самая необходимая для полусельской жизни: русская печь с небольшим запечком, полати, на которых сушился и хранился лук, травы, грибы (поэтому кухню регулярно и подтапливали), сбоку от печи стояла у стены газовая плита с баллоном. Кроме того, здесь имелись холодильник, посудный шкаф, водопроводный кран с раковиной и обожженные паяльной лампой деревянный стол с двумя широкими скамьями, слаженными под старину. Было довольно просторно, и при нужде здесь без труда размещалась пара раскладушек.

Михеева всегда удивляла основательность, с какой Василий вел хозяйство. Было все сделано надежно, прочно, будто хозяин собирался прожить лет сто сорок. Кротов, положив на стол разделочную доску, закатывал рукава рубашки, и, видя его мускулистые руки, Михеев подумал: «Да он и проживет, у него нервы крепкие. А и не проживет, так есть кому все передать».

С Кротовым Семен приятельствовал уже лет шесть, с тех пор как на одном из совещаний директоров предприятий района случайно разговорились в перерыве об охоте.

Страсть к охоте, рыбалке, грибам и соединила их надолго. Хотя по характеру оба были разными людьми. Кротов — целеустремлен, напорист, грубоват; Михеев — мягче и поделикатней. И они как бы уравновешивали друг друга. Однако со временем оба стали замечать, что нитка, долго связывавшая их, начала незаметно перетираться. Внешне это проявлялось в виде пустяковых споров.

И даже пробудившийся в последние годы у обоих интерес к книгам не сплотил их. Смешно, однако Кротов и здесь обошел Михеева, закупив недавно полностью «Библиотеку всемирной литературы». При случае он не забывал обмолвиться об этом. Он был во всем везуч на удивление. Получалось как бы, что у одного костра фортуны грелись, да Кротов, вперед придя, уселся поудобнее: и дым не наносит, и в спину не дует.

Сын у него растет, а Михееву и в этом деле не повезло. Да, видимо, и не повезет уже... Как говорится, зависит не все от тебя самого, кое-что и от бога. Жена еще продолжает ходить по докторам, но теперь уж, кажется, по привычке.

Положив в жаровню все необходимое, Кротов зажег газ, поставил мясо на огонь, а сам, сполоснув руки, достал из холодильника «Столичную».

— Во, глянь, Сема, снова появилась в последнее время на прилавке, — показал он ее Михееву, поворачивая наклейкой в разные стороны.

Михеев ответил ему кивком головы. Заметив возле печи стопу старых журналов «Наука и жизнь», он взял один из них, стал листать.

— Что это, Василий, журналы у тебя валяются здесь? — спросил. — Эдику на макулатуру?

— А, супруга печь ими растапливает. Это читанные.

— Вообще-то журнал интересный.

— Да, — согласился Кротов. — Вот уже лет двенадцать выписываю. И регулярно читаю.

— Я тоже давно. Правда, читать времени не хватает. Зимой еще туда-сюда, а летом — не до того. Но у меня все хранятся. Причем я старые журналы люблю больше, чем свежие. Четче

понимаешь, чего не надо читать. У меня мечта есть, как-нибудь все их перелопатить. Кстати, на днях вот наткнулся на любопытную статейку. Года два, кажись, назад была напечатана. Там, значит, кандидат каких-то наук агитирует нас не есть мясо. Чтобы жить долго. А мы вот с тобой того... мясо жарим.

— Припоминаю. Тоже когда-то читал. В конкретностях забыл, но суть, — покачал Кротов ладонью, как самолет крыльями, — застряла в в голове. Ерунда все. Чтоб по подобным рецептам есть, надо ничем больше не заниматься, а только этим. Но долго все равно не проживешь, — сказал он с твердой убежденностью.

— Почему? — удивился серьезно Михеев.

— С тоски подохнешь.

И они расхохотались.

— Садись за стол, — предложил Кротов, — разгоним малость кровь. Честно говоря, жрать хочется как из пушки.

— Конечно, Вася, может, это и очередное, так сказать, увлечение, все так. Но знаешь, что мне понравилось? — не унимался Михеев, хотя Кротов слушал его без всякого интереса. — Организм-то наш, оказывается, живет за счет энергии солнца.

— Сема, ну это же сейчас в первом классе проходят. Бери!

— Хорошо, возьму. Но как она накапливается, знаешь?

— Кто?

— Ну эта, энергия солнечная.

— А-а, нет! — покрутил нехотя головой Кротов.

— Ну, вот что интересно: мы-то получаем ее съедая растения. Понял? Так что он где-то и прав... Когда мы едим мясо, то потребляем энер-

гию, уже использованную, да и то в небольших количествах. А отходов получается много. Они засоряют организм, шлаки эти. Отсюда болезни, старость скорая. Так что, надо на растительную пищу больше жать.

— Может быть, — вздохнул Кротов,—может быть. Но если я не изжую шмат свежего мяса— я не жилец. Еще более страшные последствия ожидают человека женатого. Ты лучше скажи, как тебе сегодняшняя охота?

— Да-а-м... — замялся Михеев. — Ничего.

Кротов, поглядев на него, отвернулся. Как только язык-то поворачивается сказать «ничего». Да, блестящая охота! Зачем притворяться-то? Уж Кротов-то знает, что Семен понимает толк в охоте. Давний партнер. А какой стрелок — позавидовать есть чему. Навскидку бьет без промаха.

На лося, правда, ходили вместе впервые. Михеев до сей поры охотился только на пернатую дичь. Однако странный он человек, бывало, пойдут на рябчиков, Михеев штуки три-четыре возьмет, хотя они так и прут на манок, пристроится куда-нибудь на высокое место и сидит, любуется осенним лесом. Охота, говорит, это не промысел, а утешенье для души. А какое будет утешенье, когда ты ворох рябков нахлестал. После этого нудит, в церковь надо идти, грехи замаливать. И не поймешь его, ехидничает или серьезно утверждает.

— Хороший ты, Сема, мужик, но, извиняюсь, погубит тебя когда-нибудь излишняя сентиментальность, — сказал Кротов, поднимаясь из-за стола, чтобы помешать яро шипящее мясо. — Сегодня, видать, у тебя со страху дрожала рука. Промазал.

Кротов вел машину, которую взял на выход-

ные в своей конторе, а Михеев из кузова стрелял в лосиху, бегущую в свете фар. Вначале он случайно перебил ей заднюю ногу, и она скакала на трех. А вторым выстрелом попал в шею, в лен, лосиха и после этого еще проковыляла метров десять—пятнадцать. Когда они подбежали к ней, застонала жалобно, совсем как человек. Михеев потому и не хотел вспоминать; но вся эта картина и сейчас наперекор желанию стояла перед глазами. Голова лосихи лежала неподвижно, глаз смотрел в звездное небо, и веко часто дергалось. Перебирая ногами, загнанный и смертельно раненный зверь дышал еще глубоко. Кротов выдернул из-за голенища нож, широкий и длинный. Словно угадав его движение, она дернулась, собрав, видно, последние силы, но их не хватило даже для того, чтобы оторвать от земли голову...

Они неторопливо закусывали. Михеев положил вилку.

— Мясо, однако, того после зимы, хвоей отдает еще, — проговорил Кротов. — Слушай, Сема, перестань дуться, ей-богу, ты как впечатлительный ребенок.

От зелья Михеев подуспокоился, и сердиться ему действительно больше не хотелось.

— Повезло нам сегодня, Сема, здорово. Ты понимаешь, — признался неожиданно Кротов, — сколько я зарекался: все, мол, кончу, последний раз и чтоб — никогда больше. К добру не приведет. Но это, черт возьми, как болезнь! Приходит время, и ноги сами несут, руки сами делают. Как болезнь, ей-богу.

— Да-а, это так, — соглашался Михеев. — Со мной тоже бывало. Знаешь, — засмеялся он,— это как жареные семечки: и ругаешься уже, а

пока не кончились, будешь щелкать. Невольно рука тянется.

— Во! Именно. Точно сказано! — воскликнул Кротов.

— Люблю дичь, — признался Михеев.

— Я тоже, — восторженно дернулся хозяин.— Но дайте мне эту дичь из магазина — не буду даром есть. Мне — чтоб самому добыть. Охота. Процесс! Му-у. Бывает, идешь — боишься, опасно, как на минном поле: того гляди — подорвешься. Нервишки-то щекочет. А вернешься, все в порядке, вот как сегодня, хорошо-о. Душа и тело, как после бани, тепленькие. Благода-ать. Нет — люблю-ю, Сема! Трудно? Опасно? Да! В этом вся соль. Когда легко — это неинтересно. Понимаешь? Страсть.

— А я, Василий, действительно боялся, — разоткровенничался Михеев. — Только когда стрелял, то ненадолго забылся, а так — мандражировал. Как у меня мужики на производстве говорят — муку сеял, до самого дома.

— Это бывает. Место ничего, надежное. Сейчас там ни души. Эти озими-то я ведь еще с осени заприметил. Тогда мы ездили под Галиусовку на озера, за утками.

— А меня че не свистнул? — возмутился Михеев.

— У тебя ж «Заготзерно», в августе работушки — невпроворот.

— Это так, — согласился Михеев. — К работе я отношусь серьезно.

— Я, что ль, хуже, — обиделся Кротов. — У меня вот который год одна проблема — «летуны». Придет, примешь, как человека, а он, стервец, полгода, год отконопатил и — хвост пропеллером. Сколько раз мне за текучку шею брили без мыла. Я бы «летяг» этих, — набычив-

шись, Кротов сжал кулак так, что пальцы скрипнули тугой кожей, — я бы их... тар-раканов.

— Они, Вася, не всегда и виноваты, — возразил Михеев, кладя вилку и вытирая губы ладонью. — Мы частенько сами плодим их, но не думаем об этом. К примеру, мужик с заявлением пришел. Мы что, очень интересуемся, отчего он увольняется? Да нет! А если он еще с претензией какой ко мне, не глядя ведь подмахну заявление — катись.

— А мне кажется, — не согласился Кротов, — погоня за легким рублем бросает их с места на место. Недавно на эту тему я разговаривал в облисполкоме с завотделом.

— Ну. Думаешь, если возьмешь административный аршин да начнешь стукать им каждого по загривку, работать будут лучше?

— Конечно.

— Навряд ли, — поморщился Михеев.

— Предлагаешь целоваться с ними? — усмехнулся Кротов.

Михеев нахмурился.

— Нет, — покачал он задумчиво головой, — целоваться-то, пожалуй, тоже ни к чему, это уж другая крайность... Знаешь, Вася, у меня тут зимой случай был любопытный. Я как-то подмахнул одному заявление, а он смотрит на меня, стоит и не уходит. «Чего, — говорю, — еще?» Он тогда мне в глаза прямо и режет: ты думаешь только о себе! Без ума да без души, так оно здесь, говорит, и нехлопотно сидеть-то. Злодей ты, а не директор! Обидно, конечно, мне было, а проглотил. И вот хожу день, второй, а меня нет-нет да и ковырнет в самое сердце теми словами. Отчего, думаешь?

— Сентиментальничаешь много, — теперь по-

морщился Кротов. — Слабоват ты, черт возьми. Твердости нехватка.

— Нет, — выдохнул Михеев. — Не в этом дело. Ведь он (прав, не прав — это другая сторона) в глаза мне сказал то, что думает обо мне. Вот что главное. Этого мы все боимся. Боимся, просто сознаться не хотим. После я уж разобрался (для себя), пошел в бригаду, с людьми поговорил. Мужик был работяга и честный, а мастер заел. Предлог ведь, сам знаешь, всегда можно сыскать. Вынудил мужика. Тот явился ко мне с заявлением и, может, надеялся, что я разберусь, поинтересуюсь. А я его... как портной, тем же сантиметром обмерил, что и всех. Вот ему и обидно, вот и высказался на прощанье. Но факт, что я-то после этого задумался.

— Мне лично плевать, кто что обо мне говорит и думает, — убежденно сказал Кротов. — У меня программа свыше, и я ее выполняю.

— Э-э, не-ет. Когда вот так, работяги твои мнение о тебе составят как о бездушном человеке...

— Брось ты, Сема,—Кротов махнул рукой.— Ну, ладно о работе. Давай задуем эту свечку хоть на сегодня. Первое Мая! Праздник. Не уважаешь?

— Ув-важаю! — вскинулся петушисто Михеев.

— Знаешь, а я ведь сам изобрел этот способ охоты, — проговорил после паузы Кротов. И в подкупающе тихо сказанной фразе пузырилось бахвальство. — Додумался, — улыбнулся он.

— Гордись, — отчуждеино ответил Михеев.

— А я горжусь. Только ты не по...

Неизвестно, куда бы увел их разговор, не от-

ворись в это время дверь и не войди в кухню Надя, жена Кротова. Она только что поднялась с постели и, увидев во дворе машину, сразу направилась сюда. За нею вошел Эдик, одиннадцатилетний сынишка Кротова, голубоглазый, как мать, белоголовый, худенький, но рослый для своих лет. При виде его Михеев умилился, глаза его повлажнели.

— Здрасте. Ну, с чем вас?

— С праздником, Надежда Кирилловна! — приподнявшись над столом, поклонился галантно Михеев.

— Спасибо, вас тоже, Семен Петрович! — ответила с улыбкой Надя. — Так с радости аль с горя?

— А угадай, — закуражился было Кротов.

— Чего гадать,—ответила с вызовом Надя,— по роже твоей видно, что не с горя.

Они всей семьей отправились в ледник смотреть добычу, а Михеев, проводив тоскливым взглядом Эдика, задумался.

— Ух ты-ы, как много!—воскликнула Надя.— Это все нам?

— Да ты что, Надежда! Пополам, конечно.

— Ему ты отвалишь половину? — изумилась она. — Дай одну ляжку. Все делал ты, он только помогал.

— Нельзя, вместе ездили, одинаково рисковали. Он тем более — стрелял. Куда нам столько?

— Куда? — вскинула она брови и отвернулась, желая показать, до чего наивен ее супруг.— Да я Коле звякну сейчас в город, на «Волге» он через три часа будет здесь. Вась, — взмолилась она, — ну ты же знаешь, сколько я жду

«стенку» в стиле «жакоб». А за такое-то ему мигом достанут.

Коле, брату жены, Кротов был обязан многим: городской пропиской и работой. Даже в институт не без его помощи Кротов поступал. Коля же свел его и с Надей. И тем не менее был сейчас Кротов несговорчив.

— Нет, Надюшенька, — ласково отвечал он, подумав, — нельзя.

— Ой, как здесь холодно. Пошли скорее. — Надя передернулась всем телом. — Вась, ну куда им столько двоим. Объедятся. Ритка и так вся жиром заплыла, распустила себя.

— У них, Надя, между прочим, тоже есть друзья. Кто не любит сохатину, скажи?

— Какой ты все-таки... нехороший, Кротов. Обо мне ты когда-нибудь подумаешь?

Эдик на выходе споткнулся, он никак не мог отвести взгляда от огромной ушастой головы с закрытыми глазами.

— Василек, ну поговори с ним. А? Он же покладистый и сговорчивый.

— Ладно, ладно, — начал сдаваться Кротов, нервничая. — Может, придумаем чего-нибудь.

— Ой, Вась!

Надя прижалась к мужу, халат у нее сверху разъехался. Кротов приобнял жену за талию, притянул к себе.

— Ну-ну, подумай. — Надя ловко вывернулась и поплыла в дом. Эдик пошел за нею.

Кротов, глядя вслед Наде, такой женственной, притягивающей, желанной, вздохнул и вернулся в кухню. Ему и самому теперь не хотелось делиться с Михеевым, жаль было расставаться с добычей, которая лежала в леднике, на своем месте. Предложение Нади было заманчивым.

Можно было кой-чего провернуть. Но как у приятеля оттяпаешь его законную долю, его трофей?

— Слушай, Сема, — начал он заговорщицким тоном, — у меня есть великолепная идея, рациональное предложение. Давай вечерком скатаем туда еще разок.

— Сегодня? — заморгал глазами Михеев.

— Ну да! Тебе одну, и мне одну... У тебя куча знакомых, у меня куча. Всем по крошке — и то надо полные ладошки. Поедем? Знаешь, пережить еще раз настоящий азарт, охотничий, почувствовать себя...

— Нет, не согласен! Какой там азарт, трясешься, муку сеешь.

— Да чего ты боишься-то!

— Я ничего не боюсь!

— Ну, не боишься, а... не хочешь. Ты посмотри, какая удача. Такой фарт бывает раз в сто лет, а может, реже. Никого не встретили, никого даже не услышали. Время-то какое подходящее, секи — праздник, посевная еще не началась, никому до нас нет дела. Душа у меня чувствует, что благоприятно обстоятельства расположились, как звезды. Учти, такого случая больше может не представиться. Пожалеешь.

— Все этта таак, Вася. Но гладкая удача, это, по-моему, предостережение, предвестие опасности. Тебе, в твоем-то положении, охота, что ли, в суде прогрохотать?

— Ну, да знаешь, не гони волну. Возьмем, и все — запáли.

Но слова Михеева охладили его. Однако Кротов любил добиваться своего и плохо переносил, когда ему навязывали чужую волю.

— Сема, имею я право в конце концов шлепнуть какого-то там лося? — спросил Кротов, прохаживаясь от стола к окну и обратно. —

Имею, после того как выматываюсь на работе. Для общества! По плану — дай одно, условия производства — другое диктуют, жизненные обстоятельства — третье. Чего греха таить, свои мы с тобой люди, приходится иногда и липу гнать, где-то вперед припишешь малость еще не сделанного, где-то... Ну да что я тебе-то расписываю, сам знаешь. Без того и премии не видать. Вьешься, как карась на сковороде. А ведь все — сюда! — постучал он по груди.

— Веришь, нет, Василий, — вздохнул Михеев, — а я устал от этого производства. Хочется, чтобы все шло толково, спокойно и справедливо. Я устал от размена совести на мелочи...

— Так получай по крупному счету, — хохотнул Кротов.

— Ты шутишь все. С тобой невозможно говорить серьезно, — обиделся Семен.

— Зато ты какой у нас серьезный. А я, наоборот, — устал от серьезного. Ты знаешь, что шутка вызывает положительные эмоции и продляет жизнь? Ну, раз такое дело, давай беседовать о серьезном.

— Нет уж, расхотелось.

Они замолчали.

«Пришибленный Дон-Кихот, — подумал Кротов, взглядывая искоса на приятеля. — А ну его к черту, пусть потешится игрой в благородство».

Долгого и тягостного молчания Кротов все-таки не выдержал.

— Вот и выбирай, Сема, — проговорил он тихо, будто нехотя, — или глотать нитроглицерин, или вот такая... грубо говоря — незаконная разрядка. Мы же с тобой не грузчики, пойми, мы — государственные люди, отвечаем за других. Мы что, не можем позволить себе маленькую радость? Кстати, ты знаешь, — усмехнулся он, —

мои родители — старики, темные люди. Я к ним приезжаю на собственной машине — они не верят, что их крестьянский сын, Васька Кротов, — директор завода стройматериалов. Это не укладывается у них в мозгах. Отец, который драл меня когда-то как сидорову козу, называет теперь по имени-отчеству. Я для него — ответственное лицо. Ладно, — махнул он рукой, — меня ты перестал уважать, а Надьку-то уважаешь еще?

— Надю я люблю! — ответил Михеев, светлея лицом. — Ув-важаю, — поправился он, решив, что Кротов может не так истолковать слово «люблю».

Она была симпатична ему. Когда Михеев видел тяжелые каштановые волосы Нади, сердце его билось, как у мальчишки. Да, он готов ради нее на рискованный поступок.

Когда Кротов поведал о ее желаниях, Михеев воскликнул, что в таком случае он свою долю отдает безвозмездно. Это неожиданное джентльменство уязвило Кротова. На случай каких-либо передряг Михеев оставался ни при чем, чистеньким. И он снова и снова уговаривал его, зная, что в этот день Семену все равно нечего делать, что идти в свой «мертвый дом» он не собирается. Подвыпив, так и сказал: «Я к бесплодной своей не пойду сегодня, не хочется. У тебя вон сын есть, тебе хорошо. И мне у тебя хорошо».

Зная, что Семен уступчив, податлив и все равно поедет, Кротов не отступался. Михеев, нехотя слушая его уговоры, грустно подумал, уже безотносительно к охоте, что маховик, когда-то им самим раскрученный, невозможно остановить. А порой так хочется сделать это.

У Михеева заныло под ложечкой. Ему подумалось, что в юности каждому, наверное, дано выбрать нечто свое, свой путь. Но, выбирая, еще

не знаешь, куда тебя прикатит, не дано заранее увидеть. А про Кротова и говорить нечего, он помог во многом «усовершенствоваться». И Михеев усмехнулся: повязан с ним, будто ворюга. Он покосился на Кротова и подумал с досадой: «Да-а, видно, легче не начинать, чем остановиться».

— Можешь звонить Кольке, — сообщил Василий жене. — Пущай едет с коньячком. Да сообрази нам праздничный обедец и к вечеру на дорогу приготовь чего-нибудь, мясо по куску отвари.

— Васенька, да все будет сделано, родной. Вы ложитесь и отдыхайте спокойно, а я приготовлю обед и вас разбужу. — Она чмокнула Кротова в щеку. — Иди, мой хороший, иди...

Хотя обед был готов гораздо раньше, Надя разбудила их в три часа пополудни, когда приехал Коля со своей женой, Ниной.

И Кротов, и Михеев сидели за столом угрюмые, заспанные. Но как-то постепенно разговорились и даже развеселились. А про Эдьку Кротов знал, что сын никогда не проболтается. И он рассказал про охоту. Гости хвалили отбивные котлеты. Коля напропалую рассказывал анекдоты, разливал по рюмкам коньяк, который привез с собой. Уезжать он намеревался после возвращения зятя с охоты, а к той поре, глядишь, хмель пройдет.

Эдик сидел отдельно за маленьким столом и рисовал акварельными красками. Потом с листом в руках подошел к отцу.

— Чего намалевал, сынок? — спросил Кротов, беря рисунок. — О! — воскликнул он и стал показывать гостям.

На листке была нарисована лосиная голова со струящейся из нее кровью. В отдалении стеной чернел лес, и возле него, тоже черный, темнел силуэт другого лося.

— Натурально художник! — Нина с улыбкой потрепала племянника по плечу.

— Пап, возьми меня на охоту, — попросил Эдик, узнав, что вечером отец с дядей Семеном опять поедут в галиусовские угодья.

— Нет, сынок, рановато тебе на такую охоту. Вот осенью на уток поедем, тогда возьму. За лето ты еще подрастешь. Рановато. Меня самого отец начал брать на охоту с тринадцати лет.

Видя, как сын сразу потускнел, Надя пожалела его и сказала мужу полушутя-полусерьезно:

— Вась, там не пешком бегать, в машине-то сидеть. Мальчику хочется. Пусть привыкает к трудностям.

— Ладно, подумаем, — буркнул Кротов.

— Неужели ты собираешься взять его с собой? — наклонясь, спросил тихо Семен.

— А что? Захочу и возьму. Чтоб мой сын рос не тютей, как... некоторые, а мужчиной. Возьму на выучку, — рассуждал Кротов негромко, словно сам с собой говорил.

— Да ты соображаешь, что делаешь! — не сдержавшись, воскликнул Михеев, но тут же спохватился и забормотал: — Если б у меня были дети, я не то что их брать, сам бы никогда не пошел на такое дело. — Он помолчал и неожиданно признался: — Может, потому и занимаюсь этим, что тяжко мне. Кого ты из него собираешься сделать?

— Дурак ты! — произнес Кротов сочувственно. — Потому и рассуждаешь, как младенец, что нет у тебя детей. Он же не в царстве небесном обитает, где за каждым носят тарелку с райски-

ми яблочками, — кивнул он на сына, — и его надо приучать к нашей жизни.

— По-моему, ничего нет страшного в том, если Эдик поедет с отцом на охоту, — пожала плечами Нина.

Коля промолчал.

Семен с досадой подумал, что женщины потому поддерживают Эдика, что не имеют представления об этой охоте. Но он не стал перечить им, а заговорил с Кротовым:

— Мы-то с тобой, Вася, понятно, — в войну росли. Детства не видели. Радости нас обходили. Но Эдька... У него есть все! Зачем ему, скажи, передавать наши пороки? Да если б у меня был сын, так я бы... я бы передал ему только самое лучшее, — проговорил Михеев с жаром. — Дело твое, конечно. Чего я, действительно, воспитываю тебя. Если возьмешь Эдьку, я не поеду! — И он решительно поднялся из-за стола.

— Я бы... Я бы... — усмехнулся Кротов.

Он был по-прежнему спокоен. Это еще больше разозлило Семена.

— Н-не-по-е-ду!

— Трус! — обрезал Кротов.

Сжимая под столом кулаки, Семен покосился на Надю, поймал ее испытующий взгляд, она словно бы спрашивала: «Семен, неужели ты на самом деле трус? А я думала, что ты смелый мужчина!»

— Я не трус, — проговорил он, стараясь не выказать волнения, охватившего его.

— Тогда поехали! — встрепенулся Кротов.

— Хорошо, — безразлично и устало согласился Михеев. — Поедем.

— Вот это мужской подход! — отозвался торжественно Кротов. — Чудило ты. Думаешь, совесть будет после мучить?..

2

Молодая лосиха под утро вышла из леса на посевы. Она поминутно останавливалась, замирала и с опаской прислушивалась. И скоро успокоилась. Она была сильно голодна. Это чувство преследовало ее постоянно. Еще не верилось, что прошла тяжелая зима и бескормица кончилась. Лосиха торопливо и с жадностью хватала оживающие сладкие кустики озими.

Неожиданно кольнула боль, и лосиха сжалась от нее, как под рухнувшим деревом. Она уже привыкла к тому, что внутри бился иногда теленок, беспокоя ее резкими движениями. Но сейчас он и не шевельнулся, а боль не давала ступить шагу, и чутье подсказало лосихе, что скоро она освободится от первого в своей жизни детеныша. Наконец, отлегло. Высоко вскинув голову и прикрыв глаза, лосиха захватила много воздуха, с облегчением вздохнула и снова принялась есть, уже неторопливо.

Места были глухие и знакомые лосихе. Еще не забылось, как паслась она здесь осенью. Но прошлое лето смутно помнилось ей лишь по сочному разнотравью лесных опушек да по водянистым сладким растениям на болоте.

Тогда она была еще беззаботна. Слабые слепки событий остались в памяти только от конца лета, когда к ней пришел лось, тоже молодой, и весь день они пропаслись вдвоем. Она с недоумением поглядывала на него. Ей было хорошо. После дождей в лесу пахло грибами и прелью.

На рассвете они один за другим поднялись с лежки и вместе вышли из дремучего лога, где вчера поедали побеги на северном, выгоревшем когда-то от лесного пожара склоне, который гус-

то затянуло осинником-молодняком. Спустились к озеру.

Утро занималось сырое. Туман густо плавал над озером, клубился на берегу, сердито путаясь в зарослях кустарника.

Здесь их настиг грозный трубный оклик. Оба замерли. А уже в следующий миг, почуяв соперника, лось стал яриться и бить копытом, воинственно выгнув голову. Из тумана к ним вышел матерый бык; крепкий и полный сил, он приближался, неся высоко лопату рогов.

Из его пасти вырвался грозный боевой стон, а из-под мясистой верхней губы выползла пена.

Они сошлись, огласив лес ревом и вспарывая влажную землю. Перепуганная лосиха отбежала проворно в сторону и, стоя подле развесистой ивы, смотрела на схватку со страхом и любопытством одновременно.

Бились они недолго. Громко и жалобно взревел молодой самец. Затихло все. Матерый остановился на почтительном расстоянии от лосихи. Он дышал тяжело и то и дело прикладывался горбатой мордой к своему левому боку пониже лопатки.

Паслись они вместе, но лосиха была равнодушна к нему, пока через несколько дней на нее не напал необъяснимый страх, и тогда она сама подбежала к быку, дрожа всем телом от неведомого желания.

А вскоре страх угас, и лосиха отогнала самца.

Большую часть осени она провела в облюбованном ею заболоченном лесочке, вокруг которого простирались озимые поля. Когда-то возле этого леска был полевой стан, но этого лосиха не знала. На восточной стороне она не любила бывать, здесь стояла полуразвалившаяся избуш-

ка без окон и дверей, валялось ржавое железо и на земле без единой травинки чернела большая залысина, от которой пахло резко и дурно.

Людей лосиха не встречала ни разу. В лесочке ей нравилось: тут много росло рябинника, липняка и молодых осин.

Иногда над притихшим, задумчивым леском высоко в небе пролетали журавли. Вытянувшись в две нитки косяком, они взмахивали крылами легко и неторопливо, ясно доносилось их курлыканье, от которого лес, казалось, притихал еще больше. И тогда слышалось, как срывался с дерева и падал, легонько шурша, будто устало вздыхая, желтый лист. Лосихе была непонятна тоска в журавлиных криках. Так хорошо было кругом.

От ночи к ночи воздух становился студенее. Дружно осыпался лист, чаща леса делалась светлее, сетчатей и тревожнее. Пошли дожди, утиные стаи проносились низко над землей. Сквозь редину леса стало видно насквозь, и лосиха ушла из него.

Настала зима, и есть приходилось голые ветви да глодать кору осин и рябин. Но снег подваливал, и кочевать становилось все труднее и труднее. Однажды она пришла на болото, где густо рос сосняк. Пара лосих лакомилась здесь хвоей. Инстинкт подсказывал присоединиться к ним.

В одну из самых долгих ночей, когда лосиха лежала, внутри нее шевельнулся теленок, и с тех пор она ощущала его шевеление каждый день.

Обессилели морозы, умчались вьюги, и зима сломалась. Дни стали ясными, на солнышке притаивал ослепительный снег. А ночью мороз схва-

тывал его в крепкую корку, которая проламывалась и острыми краями ранила больно ноги.

Что ближе было по времени, то помнилось яснее и подробнее. Как-то во время утренней поеди лосиха отошла от стойбища дальше обычного и набрела на большую поляну, посреди которой увидела остожье. От него вилась едва приметная, давно занесенная снегом дорога. Но один стожок был не увезен. Лосиха подобралась к нему, зарылась мордой в сено, оно хранило летние луговые запахи, от которых слегка замутилось в голове. Всходило солнце.

Она не сразу почуяла опасность. К стогу приближалась лошадь, запряженная в сани, на которых стоял человек. Он закричал, погоняя коня. Перепуганная лосиха бросилась в лес. Человек стал пронзительно свистеть ей вслед. Наст хрустел, она проваливалась, сотрясаясь всем телом, и стон невольно вырывался из ее горла. Лосиха выбилась скоро из сил, но страх гнал ее прочь от опасного места. И она шла. Кололо в боку, дрожь пробирала тело, а задние ноги подламывались. Над бабками сочилась кровь, скатываясь в снег красными комочками. Наконец лосиха забрела в густые заросли ельника, где снег был рыхлый. Долго стояла она, прислушиваясь и отдыхая, и наконец залегла.

Теперь она снова бродила одна, осторожно обходя полянки.

Когда лес ожил от пересвиста птиц, а в проталинах показалась земля и на ветвях набухли почки, лосиха вернулась в места, где паслась осенью...

Лес сегодня был угрюм и молчалив. Вот-вот должно было раздаться первое осторожное щелканье глухаря. Лосиха ждала. Оно для нее было

как сигнал, что в лесу все спокойно и можно еще попастись на сочных зеленях.

Но сегодня прежде щелканья донесся шум, ровный, спокойный и непугающий. Настороженно подняв голову, она выжидала, готовая убежать в лес. Но не успела: из-за осинового колка выкатились два ослепительных огненных шара, которые из тьмы брызнули лосихе в глаза светом ярче солнца. Ноги от страха будто отнялись. А когда силы наконец вернулись, лосиха, сдавленная по сторонам стенами непроглядной тьмы, бросилась по световой прогалине, свернуть с которой ей мешала неведомая сила.

Шум усиливался. Она прибавила ходу, но резь в боку придержала ее. Хватанув воздуха, лосиха снова побежала вперед. Однако боль снова осадила ее. А шум, теперь уже страшный, настигал, накатывался, накрывал, прижимая к земле. И негде было укрыться, впереди лишь — зеленая озимь. Лес молчал, его спасительные заросли были отрезаны полосой света.

Чувствуя, что ее гонят по кругу, лосиха жалобно, обреченно замычала и рухнула на землю. Но тут же вскочила, пробежала еще несколько шагов и снова упала, уже на все четыре ноги. Боль оглушила ее, разрывая тело. В утробе забился тревожно детеныш.

Шум сделался тихим, словно удалился. В свете возник человек с палкой. Лосиха застонала. Потом появился второй человек, тоже с палкой, а за ним еще, совсем маленький человечек.

Второй крикнул:

— Не шуми!

Он подскочил к ней, замахнулся, и в следующее мгновение в голове лосихи весь мир ослепительно вспыхнул и мгновенно погас.

— Не надо стрелять, — сказал назидательно

Кротов, возбужденно втыкая лом в землю и заводя под шею лосихи широкий острый нож, выкованный из обоймы подшипника. А потом, сторонясь, чтоб не запачкаться, добавил: — На зорьке выстрел знаешь где слыхать? У-уу. Теперь маячить тут нечего. Трос быстро!

Они оттащили тело лосихи в лесок. Кротов моментально развел костер так, чтоб с открытого места его не было видно из-за машины, и погасил подфарники. Он достал сигарету, присел на валежину, прикурил от спички (к огню тянуться не хотелось) и с жадностью затянулся несколько раз подряд. Руки немного дрожали. Чтобы отвлечься, он повернулся к сыну и засмеялся:

— С полем, Эдуард Васильевич. Какую добычу взяли, а! Нравится?

Мальчик промолчал. Стоя боком к костру, он смотрел, не отрываясь, на мертвого зверя. Михеев заметил, что лицо Эдика было бледно, губы стянулись...

Хмуро глянув на огонь, радостно облизывающий сушняк, Михеев проговорил:

— Надо было ее все-таки застрелить. Так гуманнее.

— Гуманнее,—усмехнулся Кротов, щурясь.— Жалко?

— Да, — сухо ответил Михеев. — Жалко...

Кротов выждал, ему показалось, что Семен хотел развить какую-то мысль, но тот замолчал, и Кротов стал ему объяснять:

— Во-первых, выстрел в такой ситуации не желателен. Крайне. А во-вторых, ты сам видел— лосиха пала. Ее загнали. Она не может встать, она в шоке, а это значит, что инстинкт самосохранения и другие реакции парализованы. Ей безразлично: выстрелил ты в нее или

ломом оглушил, а после перерезал горло. Ей — безразлично, нам — нет. В первую, как я понял, тоже можно было не стрелять. Ну, ладно, — воскликнул, опомнившись, Кротов, отшвырнул окурок, стряхивая минутное забытье, вновь наливаясь беспокойством. — Надо скоренько разделать ее. Самая опасная работа осталась, черт возьми!

Отойдя в сторонку, Михеев стоял, задрав голову. Недавно из-за леса выплыла луна и теперь мягко освещала окрестности. Он засмотрелся на яркую луну, и она показалась ему дыркой, проделанной в темном небе, в которую будто светил кто-то на землю и наблюдал, что здесь творится. «Неприягное все-таки ощущение, — поежился Семен. — Луна и та кажется глазком...»

Они торопливо вспороли брюшину и враз застыли: из прорезанного плодного мешка выскользнул к ногам теленок. По виду его, по шерсти догадались, что он должен был скоро родиться.

Как сговорившись, невольно покосились на кабину: Эдик спал, привалясь к дверце, и, к счастью, ничего не видел...

Потом они закопали потроха, шкуру, завалили свежую землю прелой листвой. Вытерев тщательно сальные руки тряпкой, Кротов сел за баранку. Мотор не заводился. Эдик проснулся, уставясь сквозь лобовое стекло на дотлевающий костер, соображая, где он находится. Дядя Семен ногой растаскивал головешки и угли.

Кротов занервничал, выскочил, отбросил капот, прощупал проводку. Близился рассвет, надо было поскорее убираться с этого места. Вдруг Эдика начало рвать прямо в кабине. Он шарил по дверце, стараясь нащупать ручку. На-

конец вывалился на землю, получив вдогонку крепкую затрещину.

Семен глядел молча, лишь грудь его вздымалась да подрагивали ноздри.

Машина не заводилась.

— Это ты накаркал! — взорвался неожиданно Кротов.

— А что я накаркал? — спросил Михеев спокойно.

— «Не повезет, не повезе-ет! Предчувствие опасности!» Вот вмажемся, так отвечай.

— И отвечу! — сказал Михеев вызывающе. — Испугал.

— Ты что? — обомлел Кротов. — Да ты, ты соображаешь, что говоришь?! — задохнулся он, потрясая руками возле лба. — Если с такими трофеями накроют — крышка всей карьере: все может полететь к черту! Оба кувыркнемся. Или тебе это и надо, директорское кресло надоело?

— Плевать, — ответил равнодушно Михеев и добавил: — Невелика утрата.

— Невелика? — взревел Кротов. — Коту под хвост? Все? Репутацию, положение?

— Репутация, — усмехнулся ехидно Михеев и съязвил: — Вначале ты на репутацию работаешь, а уж потом — репутация на тебя.

После всего происшедшего в эти сутки что-то переломилось в нем. По-другому увиделось то, что по весне Кротов бил щук из ружья, в икромет же ловил рыбу ставными сетями, стрелял в пролетных уток, а в начале августа выбивал утят-порхунцов. Чутье подсказывало Михееву, что есть такие неписаные законы, переступив за грань которых нельзя себя уважать, как прежде. До него дошла поразительно простая мысль, что и пили-то они, чтоб убить свою совесть.

— Ну, Сема, ты меня ра-зо-ча-ро-вал, — покачал головой Кротов. — Бог даст, выберемся отсюда, больше ни-ког-да не поеду с тобой на охоту.

— Я сам не поеду с тобой. Не думал, что ты такой живодер.

Обняв обессиленно баранку, Кротов некоторое время сидел, склонив голову, не шелохнувшись. Потом сглотнул вязкую слюну, закурил и вышел. Он понимал, что сейчас необходимо успокоиться, так как они оказались словно в трясине: чем больше брыкаешься, тем скорее засосет. Вообще-то следовало этого от Михеева ожидать. Неспроста же с некоторых пор одолевало временами сомнение, недоверие к нему. И вот оно, чувство, не обмануло. Михеев раскрылся. Живодером обозвал. Да разве настоящий друг скажет такое? Вот подлюка какой. Ну не мерзавец ли?!

Подавляя волнение, беспокойство, страх, Кротов подошел к угрюмому сыну и, стараясь говорить ласково, позвал в кабину. Эдик отвернулся и демонстративно полез в кузов. «Ишь ты! И у этого сопляка свои принципы!»

Василий сел в кабину и даванул ногой на стартер, который с редкими всхлипами уже едва проворачивал мотор. А машину на опушке уже хорошо было видно с дороги.

Делая передышку, они по очереди молотили заводной рукояткой, запаленно дышали, скаля зубы.

— Сниму к чертовой матери шофера! — угрожал Кротов. — Сразу после праздников сниму! Довел новую машину — не заводится! А божился, сукин сын, что все в порядке.

«Да хоть бы ты завелась», — тревожно подумал Михеев, а потом и прошептал, как зак-

линание: «Да воспламенись же ты, горючая смесь!»

Завелась она каким-то чудом. Кротов даже зашелся в истерическом хохоте. Но овладел собой он мгновенно, без суеты прогрел как следует мотор, достал зачем-то из-за спинки сиденья двустволку, заряженную «жаканом», осмотрел, положил обратно. После этого высунулся и еще раз позвал Эдика в кабину. Тот по-прежнему упрямился. Тогда Кротов пробормотал: «Ладно, покоченей маленько наверху — мягче станешь».

Он захлопнул дверцу, и они тронулись.

Возбужденный ум мальчика не мог справиться с незнакомыми чувствами и неизведанными до этого ощущениями. И оттого, может, озноб охватил его. Эдику не верилось, что его папа ударил упавшее животное ломом по голове и перерезал ему горло, как какой-нибудь злодей из фильма. А теперь лось порублен на куски и лежит рядом в кузове, и его везут домой, чтоб сложить мясо в ледник. Зачем папа обманул его? И за что он его самого ударил? Лучше б совсем не брал с собой, как говорил дядя Сема. И тогда он, Эдик, ничего бы этого не знал и, может быть, любил бы папу по-прежнему. А теперь он хочет его любить, но уже никак не любится, как раньше, потому что получается, что он будет любить папу за то, что папа учил не любить в других?

Благополучно пересекли поле. Уже было видно, как серебрилась покрытая инеем озимь. Выехали на дорогу. Здесь остановились.

— Эх, утро-то какое! Настоящее глухариное! — воскликнул умиленно Кротов.

Он гадал, куда теперь лучше поехать. Вправо, на подъем, безопаснее и ближе до тракта, но рискованно. Ложок там есть один, он в эту пору

может оказаться ловушкой. Прежним путём ехать, к озерам, — припозднились, наткнуться недолго на кого-нибудь нежеланного, солнце, того гляди, покажется.

Михеев настаивал ехать влево, проверенной дорогой. И после короткого замешательства Кротов устало согласился, не желая с ним больше ссориться.

Семен задремал и не сразу понял, что произошло, когда Кротов, грубо выкрикнув под ухо непристойные слова, развернул круто «газик» в обратную сторону.

Михеев огляделся, соображая, что случилось. Он опустил стекло, высунулся и увидел, что за ними гонится «уазик». Оказывается, выскочив из-за поворота к развилке, Кротов заметил его за какую-то сотню метров от их «газика» стоящим поперек дороги. Мгновенно сообразив, в чем дело, Василий стал уходить от засады. Лицо его было бледным и решительным.

— Наелись, кажись, сохатины! — воскликнул он в злом отчаянье.

— Это же симоновский «уазик». Послушал тебя... сюда ехать.

— Надо было поменьше озими-то колесами пахать, да не от развилки начинать, — заворчал беспокойно Михеев.

— Если ты умник такой, чего же не подсказал раньше?

— Откуда я знал, что нас по этим следам накнокают?

— Тогда и помалкивай, черт возьми! — огрызнулся Кротов, сощурив глаза.

— Сам же говорил, бояться здесь некого.

— «Некого, некого...» — передразнил его Василий.

«Уазик» повис у них на хвосте. Кротов знал,

что охотовед Симонов, гроза браконьеров, просто так не отступит. Попадись они ему, на весь район шум поднимет. А тогда уголовного дела не миновать. Возможно, Симонов ездил на озера проверить, не охотятся ли там на пролетных уток, но у развилки, видать, наткнулся случайно на свежую колею в озимях.

— Щелкнуть его никто не может, гада, чтоб не мешал людям жить!

Кротов заскрежетал зубами. Ведь подсказывало чутье — не надо ехать той дорогой. Не надо! Чутье еще ни разу не подводило его. Так нет, послушал этого идиота Михеева, сугодничать решил. Суго-дничал... А теперь оставалась только одна надежда, что ложок удастся проскочить. По крайней мере, надо сделать все, чтоб не даться в руки этим... Он давил на педаль газа безжалостно, и послушная машина летела вперед, прыгая на ухабах, гремя грозно кузовом.

Оглядываясь в заднее стекло, Михеев видел, как бледный Эдька вцепился руками в передний борт и держался за него, сидя на корточках. У него сдуло кепку, и тонкие длинные волосенки плескались в струях ветра, прилипали к щекам, лбу, к прищуренным глазам. При такой гонке, казалось, в любую секунду его может швырнуть на боковой борт. От такой мысли Михеев похолодел, сердце его замерло. «Не дай бог!»

Вот и перевал. Дальше — полукилометровый спуск с крутым поворотом вправо и с ручемоиной слева, а внизу ложок, сырое место, то самое болотце. По весне здесь бывает топко.

Миновав поворот, Кротов стал разгонять «газик» еще сильнее, надеясь, что на скорости его вынесет на ту сторону болотины. А «уазику» на односкатке здесь уже никак не проскочить по их следу. И тогда они были бы спасены. Ищи

свищи. По номерам машину не найдут, не дурак Кротов, догадался перед выездом взять метелку, забрызгать их грязью.

На спуске преследователи приотстали, видимо опасаясь кувыркнуться на повороте в глубокую ручемоину. Михеев подобрался весь, вцепившись в ручку на панели. Он верил, что Кротов сумеет перелететь эту болотину.

Машина врезалась в нее, как в кисель. От мгновенно погасшей скорости их кинуло вперед. Кротов застонал, и непонятно было, от боли или от смертельного желания как-нибудь помочь грузовику. Передние колеса уже выскочили на сухое место. Василию удалось стремительно переключить скорость, и он сразу же дал снова полный газ. Машину обволокло синим облаком выхлопных газов и лихорадочно затрясло; задние колеса, буксуя, сантиметр за сантиметром пробивались все-таки из жижи. Происходило все это несколько секунд, но показалось, что время остановилось.

Кротов кряхтел и стонал. Глаза его округлились, лоб покрылся испариной, а кепка сбилась набок. Не размыкая зубов, он приговаривал: «Дав-вай-ы-ы! Ма-туш-ка-э-э! Вы-ру-чай!»

Когда еще через мгновение машина все-таки выкарабкалась на сухой взгорок и стала набирать скорость, Кротов, переключаясь на вторую, видимо, не поверил в это. Семен видел, как черты его лица застыли в каменной неподвижности.

— Смотри! Смотри! — шипуче требовал он от Семена.

Михеев оглянулся; в заднее стекло он увидел, как «уазик», заехав в болотце, остановился на середине и из него выскочили трое людей. Один из них прицеливался вслед фотоаппаратом.

— Сели! — сообщил Михеев.

— Уш-шли! — прохрипел облегченно Василий.

Он по-прежнему гнал машину, желая оставить погоню как можно дальше.

— Знаешь, почему мы проскочили, а они сели?

— Почему? — спросил Михеев.

— Утренник. Здесь, в низине-то, оказывается, прихватило грязь. Корочка. Тонкая корочка, но на скорости она крепко нам помогла. Если б я хоть чуть-чуть заколебался, потерял скорость — все, колоти гроб. Они потому и сели, — объяснял Кротов, все более оживляясь.

Минут через пять он попросил Михеева раскурить для него сигарету.

— Они могут побежать сейчас в Галиусовку и оттуда начать звонить в милицию. Но пешком доберутся часа через два, а за это время мы будем дома, — сказал Кротов.

Семен отнял от скобы потную затекшую руку; разминая, подвигал пальцами, наконец раскурил сигарету и подал Кротову, внимательно вгляделся в его лицо. Оно уже было спокойным и уверенным. Сам Михеев успокоиться никак не мог. Дрожали руки, заходилось сердце, и ломило в висках. «Сдвинулось что-то», — подумал он. При всем том не испытывал Семен даже малейшего страха. Происходило что-то странное с ним, что, он еще не ясно понимал. И наконец ощутил — ненависть к Кротову И Михеев, судорожно хватаясь за его плечо, воскликнул возбужденно:

— Остановись!

Кротов притормозил в недоумении: до тракта оставалось километра четыре, а там и до дома час езды.

Семен хлопнул дверцей и, не оглядываясь,

полем, напрямую, зашагал к тракту. Кротов не окликнул его, но и дальше не трогался, нервно тер ладонью выступившую на подбородке щетину.

Войдя в осинник, Семен повалился под первый же куст на старую листву. Тело от усталости и напряжения гудело, но в душе теперь было определенно и ясно. «А ведь он, ей-ей, хлопнет человека один на один, помешай ему тот в деле по большому счету», — подумал Михеев и заговорил сам с собой:

— Не-е-ет, нам дальше не по пути.

— Дядя Семен! — послышался недалеко взволнованный дискант.

— Да! — отозвался он, тревожно вскакивая.

— Дядя Семен! — вбежал в осинник запыхавшийся Эдик и остановился, когда увидел Михеева. — Я с вами пойду, Семен Петрович.

Михеев беспокойно оглядел его.

— Почему кровь на губах? — спросил он. — Отец бил тебя?

— Нет, — склонил Эдик голову. — Это я разбился, когда в грязь заехали. Стукнулся. Зуб поломал.

На дороге грянул выстрел. Оба вздрогнули от одинаковой мысли и быстро повернулись в ту сторону, замерев и вслушиваясь...

Донесся рокот мотора. Кротов, видимо со злости разрядив ружье, поехал дальше. Ему нельзя было терять время.

— Ф-фу! — облегченно выдохнул Михеев.

Эдик ткнулся ему в грудь и беззвучно заплакал. Его лихорадило. Семен Петрович прижал мальчика к себе:

— Испугался? Не бойся, Эдик, не бойся. Сейчас пойдем на дорогу.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

Светлой памяти дяди моего, Василия Харлампиевича, без вести пропавшего на войне

Был у Катерины Пономаревой сын Ленька. На восемнадцатом году, прямо из ремесленного училища, призвали его в армию. Он даже дома не смог побывать. Уехал, не повидавшись ни с кем из родни, не простившись. А с фронта пришло от него единственное письмо.

«Молоденькой был, — вспоминала она после много раз при разговорах. — Не так я об отце ревела, когда умер, как об Лене, когда его провожала в ремесленное. Поглядела в запяточки, как с котомкой пошел... Знать, сердце чуяло, что не свидеться нам больше. Папа-то хоть пожил шестьдесят годов. А Ленечка и жизни никакой не видал. Наверное, как грахнуло, дак мамочку и кричал только».

Кроме Леньки были у Катерины еще три дочери, старше его, и сын Коля, самый младший. У старшей дочери, Клавдии, и доживала старушка свой век. Первые годы после войны она не раз заводила с мужем разговор о поездке на могилу сына в Калининскую область. Было письмо от командира с точным указанием места захоронения. Муж вроде и не против был. Но дочери уговаривали: куда-де вы поедете, могила-то братская, чего там ехать, к кому? Да и с деньгами в те годы было плоховато.

И каждый раз она раздумывала, ведь горе ее всегда с нею, не надо за ним тащиться куда-то. Если бы хоть могила была отдельная, а так, и верно, к кому ехать-то...

После муж заболел. А еще позже умер, а сама она состарилась, не заметив как. Много лет

прошло после войны. И вот теперь, оставаясь в квартире одна на весь день, Катерина все чаще и чаще думала снова о Леньке. Тосковала. И казнилась, что так и не собралась съездить на его могилу, пока была моложе.

Все ее дети жили в одном городе, даже друг от друга недалеко. И дети-то вроде неплохие, у других-то, послушаешь — ой! Но отчего-то ей постепенно стало казаться, что погибший сын мог бы быть лучше всех, оставшихся в живых.

Незаметно Катерина уверила себя в том, что тоска эта у нее предсмертная и что взяла она на душу грех великий из-за того, что не съездила проститься с сыном. Если б не знала, где погиб, а то могила указана — и не бывала. Грех. Деньги были теперь, и времени — хоть отбавляй, полно, но уже не хватало сил, чтобы поехать. Вот если б с кем-нибудь, тогда б можно спробовать.

Она стала искать то письмо, от Лениного командира, но не могла вспомнить, куда оно было положено. Пока у себя в деревне жила, знала, в каком месте хранится. А здесь сперва у одной дочери пожила, не прижилась, после у другой, сейчас вот — у третьей. И где это письмо — неведомо.

Начала спрашивать у дочерей, но они только отмахивались, видите ли, некогда им было поискать это письмо. Помнили, что было такое, а где оно сейчас, никто не знал. Без этого-де забот полно. Такое пренебрежение обижало Катерину. И она думала о своих детях, что они у нее бессердечные. «Не-ет, уж Леня-то у меня был не таким, — размышляла Катерина, — уж он-то добрый был, последнюю рубашку сымет да отдаст».

Она принималась идеализировать убитого

сына, придумывала ему разные добродетели, сама точно не помня, были они или нет, но, не колеблясь, верила — были.

Так дело дошло до того, что Катерина занемогла от тоски, и, когда младший сын Коля пришел попроведать ее, она пожаловалась ему. Николай задумался. Он хотя и пацаном был тогда, но брата Леню помнил хорошо, тот любил его и баловал, чем мог.

Николай устроил сестрам разгон и заставил их перерыть все свои шмотки, так и сказал — шмотки, но письмо отыскать. Нашлось оно у Марии, младшей дочери, вдовы, одиноко живущей в собственном доме.

После того как письмо нашлось, Катерина будто помолодела лет на пяток. Дело это происходило по весне, и она объявила, что если будет жива, то нынешним летом все равно поедет на могилу сына, проститься с ним, а уж после этого и сама спокойно умрет.

Во второй половине дня кто-то в теплушке определил, что подъезжают к Свердловску. У Леньки вздрогнуло и зачастило сердце, он разволновался.

— Что, Пономарев, затосковал? — спросил Леньку командир отделения. — После Свердловска и твой город?

— Да, товарищ сержант, — ответил негромко Ленька.

Отделенный участливо вздохнул, он знал, что Ленька был призван внезапно, из ремесленного, и не успел напоследок повидаться даже с матерью. Сам сержант, подлатавшись в Омске в госпитале, ехал на запад второй раз.

Вскоре эшелон остановился, но не в самом

городе. И никто не знал, сколько он здесь простоит, а кому полагалось об этом знать, тот не говорил. Однако безошибочное солдатское предчувствие подсказывало, что остановка не минутная, и все высыпали из вагонов на улицу, разминая затекшие ноги и радуясь яркому мартовскому теплу, подставляя лица первому весеннему солнышку. Поплыл над головами синий махорочный дым.

— Вроде бы зиму-то пережили, а? — сказал боец Ерохин, ни к кому конкретно не обращаясь, блаженно жмурясь.

— Зиму-то мы, Ерохин, хоть как, а переживем, — ворчливо усмехнулся в ответ Тетерин, худой фиксатый мужчина девятьсот первого года рождения. — Там бы вот пережить-то...

Все поняли, что он подразумевает, и разговор споткнулся. Лица солдат стали серьезными и строгими. Война. Они все едут на войну. И кому суждено, кому не суждено с нее вернуться — никто из них знать не может. Потому и задумались, затягиваясь глубже дымом цигарок.

Но мрачная минута тянулась недолго. Война была пока еще где-то далеко, а тут, рядом, самое начало весны, жизнь и молодость, и незаметно радостное настроение снова овладело людьми.

В хвосте состава заиграла гармошка, но захлебнулась по какой-то причине.

А Ленька стоял немного в стороне от своего отделения, он только слушал гул голосов, просеивал его сквозь уши, а сам, закусив губу, глядел безотрывно вперед, вдаль, туда, где был его город. Долго они в Свердловске все равно не простоят, ну час, ну два от силы. Значит, завтра утром или днем эшелон будет проходить

через Ленькин город. А может, и там остановка будет. Вот бы с мамой повидаться.

И хотя Ленька жил не в самом городе, а в тридцати пяти километрах от него, в деревне, но все равно это был его город, из которого он призывался, в котором много раз бывал. Леньку донимала теперь одна мысль, как бы так сделать, чтоб повидаться с матерью, как сообщить ей о своем проезде. Эх, сбегать бы на почту, да где она тут, почта-то, да и где время взять. Щемило и щемило сердце, и он думал: да хоть бы она почувствовала, что он недалеко, что завтра проедет мимо. Ведь, может быть, и не увидеться им больше никогда. Как ей сообщить? От сознания своей беспомощности он ощутил даже физическую слабость.

— Лень, — окликнул его по-домашнему сержант, Ленька был еще совсем мальчишкой, хотя и шел ему восемнадцатый год, и отделенный жалел парнишку. — Лень, иди-к сюда! — позвал он его, отходя в сторонку.

Боец нехотя подошел к сержанту, и тот, дымнув ему в лицо табаком, заговорил с ним. Ленька не курил и поморщился, но сержант не придал этому значения, будто не заметил, и продолжал говорить. Наконец до Леньки дошел смысл сказанных командиром слов, и он просиял весь. Глаза его расширились и заблестели, он схватил протянутый ему листок бумаги, карандаш, подбежал к стенке вагона, почистил в одном месте копоть локтем, и, торопливо написав что-то на бумажке, сунул ее в рукавицу, и зашагал быстро вдоль вагонов, и исчез среди бойцов.

Душа его трепетала от волнения, когда он, опустя пару минут, через пути выбежал к жилым домам. Это была деревянная окраина города, вдоль путей тянулись склады. Ленька боял-

ся, что эшелон уйдет без него и что задуманное дело может сорваться.

Он пошел медленнее, сторожко прислушиваясь к той стороне, где стоял эшелон, а глазами жадно стриг пустынную улицу. На ней не было ни души. Но вот из калитки вышла женщина и направилась по тропинке вдоль улицы. Он быстро догнал ее, поздоровался, шумно дыша. Миловидная, но уже в возрасте, женщина при виде его почему-то испугалась и отшатнулась. Смотрела на Леньку с недоверием и ожиданием, которых он не понял и не мог объяснить, да и не до того было.

Он смутился, не зная, как обратиться к ней: мамашей назвать — неудобно вроде, еще обидится, тетенькой — так и совсем неловко, уж не мальчик, воевать едет.

— Прошу вас очень, — выдохнул Ленька торопливо, — передайте телеграмму! Очень прошу! Пожалуйста! Мне нельзя от эшелона уйти, отстану. С мамой проститься хочу! Еду на фронт!

Он совал ей в руку записку, а она не брала, только непонимающе отступала медленно от него, выпятив губы, словно собиралась закричать или заплакать.

В этот момент услышал Ленька долгий, призывающий к посадке гудок паровоза, аж резануло по душе тревожным звуком.

— Маме, — сказал, нахмурясь. — Мы проездом. Маме бы телеграмму, — умолял он, уже чуть ли не сквозь слезы от обиды, что эта тупая женщина никак не может взять в толк, чего от нее хотят.

— Ва-шей ма-ме? — спросила она с расстановкой и наконец протянула медленно руку.

Ленька бросился к поезду.

Она развернула записку, что-то заметила, выпало из нее, быстро нагнулась — это были деньги.

— Боец! — крикнула она вдогонку, но паренек уже скрылся за углом.

Это командир отделения надоумил Леньку, что совсем не обязательно на почту бегать, чтоб телеграмму отбить. Можно попросить любого прохожего, передав ему текст и деньги.

«Мама, — было написано в записке, — шестого марта буду проезжать Пермь. Леонид».

Ниже шел адрес, по которому надо было отправить телеграмму.

Только теперь женщина до конца поняла, о чем просил ее солдат, у нее отлегло от сердца. Она-то, грешным делом, подумала: случилось что-нибудь с ее сыном, и товарищ его пришел сообщить ей об этом.

«О-ой!» — перевела она с облегчением дух и поспешила на почту.

Вечером, придя с колхозной работы, Катерина управилась со скотиной, наносила с речки воды, заставила Кольку, младшего сына, растопить печь, а сама принялась собирать на стол. Руки и спина гудели от усталости, как телеграфный столб от стужи. Сегодня мяли лен, и она крутила чугунные рубчатые валики мялки. Досталось. И, готовя есть, она думала о том, как бы поскорее отужинать да забраться в тепло и уснуть.

Муж Катерины, Михаил, сидел с лампой в углу возле порога и, угрюмо жуя кончик спички, подшивал валенок. Мысленно он пытался объять пространство, охваченное черной бедой, разлившейся по России, представить край этой

беды, протянувшейся от моря Белого до моря Черного. Ничего радостного в сводке не передавали, и, хотя отбросили немцев от Москвы, картина была угнетающей. Даже в доме стояла какая-то мрачная тишина.

Послышалось, как брякнуло кольцо на калитке. Собака на цепи взъелась. Морозно заскрипели ступени крыльца. Хозяева переглянулись: кого могла принести нелегкая в этот час.

Вошла Зина Лазарева, почтальонка.

— Хлеб-соль вам! — сказала она, здороваясь и видя, что Катерина собирает на стол.

— Милости просим отужинать с нами чем бог послал, — пригласила Катерина, а глаза ее так и спрашивали с нетерпением, с чем-де пожаловала ты, голубушка.

— Спасибо, сытая, — покашляла Зина в кулак. — С доброй вестью я к вам: телеграмма вот. Молния.

Михаил опустил валенок на пол, посмотрел на Зину, с недоумением вскинув брови: какая, откуда добрая весть, когда война и кругом сплошное горе?

Медленно перечитывая каждое слово, Катерина разобрала телеграмму и передала ее мужу. Села к столу, положила ногу на ногу, руку поставила локтем на колено, а кулаком уперлась крепко в подбородок, закрыла глаза, сдерживая в груди рвущееся рыдание. Слезы, стекая по щекам, скапливались в кулаке под подбородком. Надо было поскорее собирать узелок да бежать на станцию, а она не могла пошевелиться. И никто не посмел ее потревожить.

Зина потопталась возле порога и тихонько вышла. А Михаил с навернувшимися на глаза слезами растерянно озирался, потирая рукой

коленку. Колька смотрел на них с любопытством.

Проревевшись, Катерина засуетилась. Теперь ей было не до ужина. Шестое марта начнется через четыре часа, а до города дальняя дорога, тридцать пять километров, дай-то бог поспеть туда к утру.

Колька, живо представив брата в шинели, с винтовкой, запросился было с матерью, но отец так сердито цыкнул на сына, что тот осекся и ушел в темноту комнаты, где топилась печь и где не видно было его страданий. Сам Михаил был не ходок. Еще в молодости покалечило ему ногу в пароконной молотилке, затянуло за онучу, искрутило, как веревку, изверюньгало всю. Просить лошадь? Нечего и думать, не дадут, с кормами плохо, лошади слабые.

Колька варил яйца и картошку для брата, Михаил принялся крошить на резке самосад. Так, на всякий случай, может, Ленька курить научился. Катерина собирала носки, варежки, наложила в баночку сметаны, соленых грибов. Потом она нашла крестик, вдела в ушко сплетенный из гарусной нитки гайтан, завернула крестик в бумажку, на которой была переписана молитва. Это Лене, чтоб бог его хранил. Пусть спрячет и носит при себе. Мать рассказывала, как так-то отцу в четырнадцатом году делала, тот вернулся, и в плену побывал у австрияков, и бежал, а жив остался. Она уложила все в заплечный мешок и стала одеваться.

— Дак ты хоть поешь, Катя, на дорогу-то! — сказал муж с удивлением и возмущением одновременно.

— Да ведь некогда, батюшко, некогда! Дорогой поем, — ответила Катерина, запихивая за пазуху краюшку хлеба и четыре горячих карто-

фелины. У порога она перекрестилась: — Господи Иисусе Христе, спаси и сохрани! — и вышла.

За воротами суеверно вздрогнула: собака взвыла ей вслед тревожно и жалобно.

— Кость бы тебе в горло поперек! — сказала ей в сердцах Катерина, не оглядываясь.

Беспокойно стало на душе, что не поталанит ей, не поспеть к поезду, и от мысли этой сделалось тоскливо и больно.

Ночь стояла лунная, тихая и морозная, хрустел под чесанками снег. Дорога шла торная, хорошо уезженная лошадьми, шагалось легко. Но Катерина нет-нет да оглядывалась: не поедет ли кто куда на подводе, не подвезет ли ее хоть маленько.

Остывающая за пазухой картошка напомнила Катерине, что хочется есть, но она решила потерпеть, не тратить времени, идти, пока будут силы, а как совсем утомится, тогда уж и перекусит. А пока надо торопиться.

Деревни, через которые она проходила, были угрюмы, нигде ни огонька, только собаки, заслышав шаги, гавкали вслед, да и то без охоты, берегли, видать, силы; и им достается от войны через скудную кормежку.

Дорогой Катерина все время думала о Леньке. И в недоумении спрашивала себя: ну куда ему, желторотому скворчонку, на какую-то войну ехать. Ростом он мал, еще слаб, не заматерел, что в том, что ему восемнадцать, молокосос еще. И оставили б, поработал — больше б толку было, поди. Жил бы дома, в колхозе, не взяли б в ремесленное, может, и остался бы пока. Так думалось ей. Она не могла понять в своей скорби, зачем нужна эта война — лихая беда! — ее Леньке, ей самой, да и всем другим таким же людям. Только-только на ноги встали,

только есть досыта начали, и — на тебе! — такая напасть.

Луна светила Катерине всю дорогу и лишь к концу пути скатилась к лесу, померкла там и истлела в мареве, как уголек в золе. Стало боязно в темном поле одной.

До города она добралась благополучно, только сильно выбилась из сил. И, придя в шестом часу на станцию, она передохнула немного, съела наспех картофелины с хлебом и яйцо вкрутую, запивая еду казенным кипятком.

Вышла на перрон и стала ожидать поезда, глядя на восток. Вот показался один, но без остановки прогромыхал на большой скорости, везя на платформах танки и еще что-то под брезентовыми чехлами. Но Катерина почувствовала, что это еще не тот поезд, который нужен ей, в этом Лени нет. И еще вскоре прошел эшелон с вооружением, много, видно, требовалось его в той стороне.

На рассвете она заметила, что к станции понагнали полно машин, на перроне засуетились люди с носилками, в основном женщины. Траурно попыхивая парами, подошел на малой скорости и остановился поезд, из которого начали выносить раненых, бледных от потерянной крови, измученных долгой дорогой, истощенных, в бурых от запекшейся крови повязках. Слышались стоны, иногда ругань, причитания, уговоры ласковые: «Потерпи, миленький, потерпи немного еще, родненький...» Раздавались негромкие команды и деловые распоряжения.

Катерина, окаменев, глядела на это все и только повторяла: «Осподи-батюшка! Осподи-батюшка!» Некоторые не доехали живыми, лица их были покрыты простынями.

Катерину затрясло, уревелась вся, глядя на

искалеченных людей. Ведь Ленька, сынок ее, туда же едет, кровиночка родная. Что-то с ним станет?..

Постепенно перрон опустел, люди работали без устали, привычно, машины уехали, поезд угнали. Рассвело. Небо затянуло тучами, и день занимался пасмурный и тусклый, подул противный, докучливый ветерок, начал крошиться крупчатый снег.

Мимо Катерины несколько раз прошелся милиционер. Долговязый, сутулый, как нахохлившаяся цапля, он поглядывал на нее подозрительно, и оттого ей было не по себе. Потом подошел и потребовал документы. Она растерялась, документов у нее никаких с собой не было.

— Гражданка, прошу вас проследовать за мной! — сказал милиционер.

Она опомнилась и начала объяснять ему, зачем стоит тут, почему не может уйти с ним, поезд-то может проскочить. Но, повысив голос, милиционер потребовал:

— Гражданка, я прошу вас последовать за мной!

И она покорилась, побрела, только не за ним, а впереди, будто под конвоем.

Пришли в комнату милиции. Там сидел за столом другой милиционер и строго спрашивал что-то у здорового плешивого мужика с подбитым глазом, в поношенном полушубке и одновременно писал на бумаге.

Здесь было так тепло, что Катерину невольно передернуло, до того она промерзла.

— Что у тебя, Козлов? — спросил сидевший за столом, не отрываясь от писанины.

— Да вот, понимаете, гражданочка дежурит на перроне с самого утра, документиков-то никаких, говорит, нет, — стал объяснять нетороп-

ливо долговязый, зябко поеживаясь и потирая руки, протянутые к печке. — Подозрительно как-то, знаете. Может, мешочница. А может, и того... сведения собирает.

Катерина в бессильной обиде поджала губы, а милиционер, сидевший за столом, поднял голову и удивленно оглядел Катерину умными и, как ей показалось, одновременно лукавыми глазами. Плешивый мужик стер с лица страдальческое выражение и тоже с любопытством оглядел ее.

Она смекнула, что, если они примут ее не за ту, кто она есть, дело может обернуться серьезно и несправедливо, и решила ничего больше не говорить и не доказывать им, а только отвечать на вопросы. Она не на шутку перепугалась, но сильнее всего ее волновало все-таки то, что поезд может пройти, пока она тут будет рассиживать.

Закончив писать, милиционер повернул бумагу к мужику, ткнул пальцем, где следовало расписаться, и выгнал его.

— Ну, мамаша, куда держим путь? — как-то весело спросил он, усаживая ее на место вышедшего мужика, и от этой его веселости екнуло почему-то в груди. — Ты, Козлов, иди-иди давай на пост!

Волнуясь, она рассказала все, как есть.

— А телеграмма у вас при себе? — спросил милиционер.

— Есть! — обрадовалась Катерина и подала телеграмму.

Он пробежал ее глазами, повертел в руках, вернул.

— Э... в мешочке-то что? — поинтересовался он.

— Так ведь не с голыми же руками отправ-

ляться на свидание. Собрала маленько еды, да носки, рукавички теплые... Табачку немного...

— Ну, ладно. Можете идти, — сказал милиционер устало. — Идите, мамаша. — Он хотел сказать ей, что знает ее, потому что раньше жил в соседней деревне Кленовке, но промолчал, раздумал, к чему это ей знать.

У Катерины рассеялась обида, стало даже приятно, что такой хороший человек этот милиционер, сразу поверил ей, не то что тот стручок.

Вначале от нервного напряжения, а теперь от радостного волнения, охватившего ее, Катерина не заметила, что в углу, за спиной милиционера, стоит костыль, и не подумала, что этот человек, побывавший на фронте, вернувшийся инвалидом, тонко понимал ее теперешнее состояние.

Она продежурила на перроне весь день. Передумала всякое: и что поезд задержали где-то, и что прошел он уже без остановки, и она и не увидела своего Леньку. Но потом рассудила, что она-то могла и не увидеть его, но уж он-то увидел бы ее обязательно и все равно дал бы знать о себе, крикнул бы, записку бы выкинул. Нет, вздыхала она, должно быть, все-таки не проехал еще.

И Катерина упорно ждала, надежда не покидала ее. Было какое-то предчувствие, что если она теперь не увидится с ним, то уж, бог знает, увидится ли вообще когда-нибудь.

Потому что война страшенная идет, и, может статься, много еще людской кровушки прольется, прежде чем очистится от ворога Русская земля. Это Катерина поняла, когда нагляделась утром сегодня на раненых, которых при ней снимали с поезда. Целый эшелон искале-

ченных тел, еще недавно могутных мужиков. Страшно подумать.

Милиционер Козлов время от времени появлялся на перроне; пройдется, поежится, поглядит на Катерину и уйдет в здание вокзала, недоумевая, как это баба, ожидая поезда, весь день топчется на холоде. Не мерзнет она, что ли?

Под вечер, окончательно прозябнув, она стала ненадолго уходить в зал ожидания, наспех отогревалась, опять выходила, ждала, все больше теряя надежду на встречу. И, уже совсем почти не веря в нее, она продежурила всю ночь.

Совсем окоченев и оттирая озябшие руки, ноги, она разговорилась в вокзале с женщиной, которая сказала, что поезд могли направить по южной ветке.

— Знать, не судьба была, — проговорила Катерина, горько вздохнув, устало опустилась к стене прямо на пол и долго сидела, страдая.

Выходит, пес-то неспроста взвыл, когда она отправлялась из дому, думалось ей; чтоб облегчить душу, она цеплялась за любую, понятную ей причину неудачи.

Отдохнув, последний раз постояла немного на перроне и побрела на квартиру к младшей дочери Марии, которая вышла замуж перед самой войной и жила здесь в городе. Шла и повторяла про себя: «Знать, не судьба, Ленечка, была нам с тобой. Знать, не судьба...»

В середине апреля пришло от Леньки письмо на обрывке серой бумаги, наподобие той, в какую гвозди в магазине заворачивают. Письмо было с продолговатым бурым пятном неизвестного происхождения, невольно настораживающим. Писано оно было, видимо, в два присеста:

начиналось с простого карандаша, а кончилось коричневым. Убористо, плотно шли строчки.

«Здравствуйте, родные мои, папка и мамка, братец Коля и дорогие сестрички! Во первых строках своего небольшого письма спешу передать свой горячий фронтовой привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Во-вторых, сообщаю, что нахожусь на фронте. Пока жив и здоров. Живем, сами знаете, где, пишу письмо под небом. В боях пока мы не были, но когда шли к передовой, то я уже повидал, что немцы наделали при отступлении. Деревни они спалили дотла, реденько где увидишь живого человека. Но мы разобьем фашистскую гадину. И не будет им за это пощады. Живу хорошо, ожидаю лучше. Кушаем досыта, хлеба 900 грамм. Одеты мы тепло. Выдали нам валенки, но я бы их не согласился носить, если бы жил дома. Не беспокойтесь обо мне. Я часто всех вас вспоминаю. Глаза только закрою, так-таки и вижу нашу гору, и речку, и клуб. Весело жилось до войны, а мы этого не понимали. Что-то даже захотелось мне сейчас попробовать меда. А помнишь ли, мамка, как мы с Марусей бегали в клуб, и ты все наказывала мне, чтоб смотрел за сестрой. Все это вспоминается здесь, даже смешно. Она с парнем на лавочке сидит, а я рядом дремлю, караулю ее. Очень жаль, конечно, что только Маруся вышла замуж, как началась война и мужа ее взяли. Пишите, кто у нее родится. Я ей сам тоже напишу. Но здесь очень трудно с бумагой. По этой причине и вам не мог сразу написать. Жаль, что молодость наша проходит на войне. Очень хотелось мне увидеться с кем-нибудь из своих. Хоть бы глазочком одним взглянуть. Думал, нас повезут через Пермь. В Свердловске отдал какой-то женщине деньги

й слова к телеграмме. Не знаю, послала — нет. Но провезли нас другой дорогой. Командир нашего отделения, Зубов Николай Петрович, обо мне, как о младшем брате, радеет. Я в отделении самый младший. Зубов на фронте уже второй раз. Был тяжело ранен. Есть у него медаль «За отвагу». Хороший он человек. Тоже из деревенских. С Вологодской области. Мы с ним обменялись адресами. У него мать с отцом старички, он один сын.

На этом я кончаю письмо. Передавайте всем знакомым горячий привет. Коля пускай слушается вас и хорошо учится. Это мой наказ ему. Учеба для него теперь тоже фронт. А мы погоним врага с родной земли. Он будет разбит, и жизнь наша снова зацветет. Остаюсь жив, здоров, того и вам желаю. Писал 17 марта 42 года. До свидания. Леня».

Он постарался написать письмо победрее, чтоб родители не волновались и не переживали за него. На самом деле он жил теперь не так-то уж и хорошо.

Трое суток отшагали они пешком от железной дороги до передовой, неся на себе боеприпасы. Полуголодные, спали урывками прямо на снегу. Попали под бомбежку, которой Ленька, правда, нисколько не испугался. Он перетерпел ее, скорее, с любопытством, восхищаясь силой и мощностью бомбовых взрывов, не связывая с ними последствий, с восхищением, от которого немело нутро.

Хотя сержант Зубов и подготовил их морально к передовой, но все-таки Леньку поразило, что окопов, о которых им твердили в запасном полку, здесь почему-то не оказалось. Укрыться

было негде. Кое-где в мерзлой земле были выколупаны лишь крохотные гнездышки. Тоскливо стало на душе от такой фортификации. Ни землянок, ни блиндажей не было у тех, кого они сменили ночью. Выставив боевое охранение, устроились в шалашиках. Скрючившись и замерзая, покоченели в дремоте у костерка — вот и весь сон. Хотелось есть, остатки сухого пайка добили еще вчера, а кухня безнадежно отстала где-то, и было ощущение, что она больше никогда не появится.

А утром подавленный Ленька неожиданно получил боевое крещение, испытав настоящий страх, когда накрыли их немцы плотным внезапным огнем минометов, когда лесок, изуродованный прежними обстрелами, загудел от раскаленной стали и земля закачалась от взрывов. Перед леском было поле, за ним на холме стояла небольшая деревушка Андреевка, из которой и лупил фриц минометами.

Во время обстрела был убит в отделении боец Ерохин, шахтер из Губахи. После Ленька смотрел на мертвого, тот будто спал: ни страха, ни мук не осталось на лице, ни крови не было на теле, и только под правой лопаткой у рукава, куда вонзился осколок, — дырка в шинели. И все. Вспомнилось, как в Свердловске, до того, как Ленька собирался отправить телеграмму домой, Ерохин радовался весне, что пережили, дескать, зиму.

В тот же день Ленька с горем пополам разжился клочком серой упаковочной бумаги и стал сочинять письмо домой. Прошел слушок среди солдат о скором наступлении. Днем было тепло, и снег уже сильно притаивал.

Вечером обстрел повторился, но был он короче, и на сей раз никого даже не ранило во

взводе. А вскоре после обстрела, когда уже никто на это не надеялся, в роту притащили термосы с кашей, консервы, сахар, сухари и водку. Бойцы сразу оживились, набив котелки, стали разогревать кашу на огне. После плотного ужина стало веселей жить, и уже не было у Леньки того мрачного настроения, с которым он пришел сюда сутки назад. Все равно надо было приспосабливаться как-то к новой жизни.

Глядя на других, он насобирал лапника, ссеченного при налете осколками, настелил его на землю возле костра и, обняв свою винтовку, устроился на ночлег. Хотелось разуться и дать волю ногам, затекшим в жестких, закостенелых валенках. Но самое большее, что было возможно здесь, — перемотать портянки.

В два часа взводного разбудили и внезапно вызвали к командиру. Вернулся лейтенант через час и сразу велел собрать отделенных в его шалаше.

— Ну вот, братцы, видать, и дождались... — сказал угрюмо сержант Зубов, постоял на коленях, со вздохами свертывая цигарку, прикурил от затухающего костерка, поправил по-хозяйски огонь и ушел, тревожно кряхтя и покашливая.

И вот тут-то Леньку начало знобить.

— Боисся, что ли? — спросил боец Тетерин, всматриваясь в его бледное лицо.

— Да вроде нет, — ответил Ленька с кривой, неестественной усмешечкой. — Может, от холода. Мороз сегодня сильный. Да и рано все-таки подыматься-то. Три только.

— Может, — согласился Тетерин. — Хватани-ка вот махры, не перебьет ли...

Ленька послушно хватанул, закашлялся. Не помогло. Знобило.

Тетерин, работавший прежде бухгалтером, всегда деликатный в разговоре, теперь матерно и тоскливо выругался.

— Молодым умирать трудно — жизни не повидали, — проговорил он уныло. — А я вот повидал ее. Какую-никакую, а попробовал — так мне еще того тошнее. Ну прямо аж сердце печет. Дома — жена, детишки... Шестерка их у меня. Пятнадцать годочков вместе прожили. Пудов двадцать соли съели. И никуда ты не денесся. Кто-то затеял, а ты вот — хочешь не хочешь — иди. Иди и гибни. Вот за что обидно. А вы вот еще ничего этого не понимаете — и вас, зеленых, жалко.

Вернулся от взводного Зубов, собрал отделение, уже никто не спал.

— Ну, братья славяне... — Он помолчал, пошевырял заботливо костерок, подгреб в него обгоревших прутиков, вздохнул, оглядывая осветившиеся напряженные лица. — Задача такая: в пять ноль-ноль всей ротой сосредотачиваемся на западной опушке леса и в пять двадцать, без всяких видимых сигналов, начнем движение в сторону Андреевки. Самое сонное время. Наше отделение в составе взвода идет на ветряк. Тот, что на косогоре у деревни. Место — открытое, сами слышали, сколько тут до нас ходили... Поэтому, значит, так. Идем молчком. — Он хотел было сказать — как мертвые, но смекнул, слово это будет не к месту в такую минуту, и, не запнувшись, исправился: — Без единого звука, чтоб ни гугу, пока не обнаружат. Ни кашлять, ни чихать. А уж как обнаружат — рви подметки, вперед, и патронов не жалеть. Дави врага огнем.

— Не пройти, сержант, засекут...

— Ты, Анисимов, эти фразочки вредные брось! — отрезал Зубов, не повернув даже голо-

вы в сторону сказавшего. — Тут, братцы, вся тактика на чем? Скажу. До нас-то ходили в атаку по рыхлому снегу. Так? А теперь утром наст, хоть на кобыле поезжай. Вот пускай фрицы и узнают, что такое — русский наст. Это — быстрота и внезапность. На нее и надежда сегодня, авось вынесет. Наша задача — как можно ближе подойти к немецким окопам и, как говорится, стремительным броском овладеть ими. В случае чего — заменит меня боец Тетерин.

— А масхалаты дадут, товарищ сержант? В шинелях-то нас всех того, как вшей на белой бумажке... Видно будет.

— Нет, Тетерин, масхалатов, — ответил Зубов. — Пока ждите команды, готовьтесь; отдыхайте, если сможете.

Тетерин предложил обернуть шапки чистой портянкой, а на грудь прихватить нитками в двух-трех местах поверх шинели запасные нательные рубахи. Все-таки маскировка.

Зубов ушел к командиру взвода посоветоваться. Вернувшись, сказал, что сам комбат похвалил Тетерина за находчивость и всей роте будет приказано замаскироваться по возможности тетеринским способом.

— Станешь тут находчивым, жить захочешь дак, — буркнул с нарочитой сдержанностью, польщенный похвалой комбата, Тетерин.

Когда выбрались на опушку и стали пережидать двадцатиминутную готовность, ловя и сопровождая взглядами каждую ракету, пущенную из немецких окопов, Ленька почувствовал, что озноб его унялся, растворился внутри. Теперь Ленька неожиданно ощутил голод, непонятно почему возникший после такого плотного ужина, и захотелось ему не чего-нибудь, а теплого молока с мяконьким хлебушком. А еще

охота была забиться в теплое сухое место, на печку бы, к примеру, или на полати, и отоспаться досыта. И это, такое простенькое, простенькое, но здесь недосягаемое, желание показалось ему высшим блаженством. До прибытия на передовую он не думал, что спать здесь придется на земле у костра, накидав елового лапника. С непривычки он ни черта не мог выспаться.

Ленька подумал, как это глупо мечтать теперь о еде и сне, когда...

Да если тебя сегодня могут убить, то так ли уж важно, успел ты поесть или не успел, выспался ты или не выспался. Конечно же, глупо об этом думать перед боем. Но что поделать, если думалось.

И вот двинулись. Запохрустывала под валенками спекшаяся за ночь от мороза крупа наста. Ленька то и дело озирался, не один ли он идет, что-то было у него такое ощущение. Нет, маячили темные фигурки, справа — Тетерин, слева — Зубов. По ним и ориентировался он, чтоб не отстать или не забежать вперед.

Больше половины поля прошли. Начинался пологий подъем. Ленька оглянулся на восток, будто желая увидеть свой дом, оставшийся за тридевятью землями; он углядел, что над лесом, от которого они уходили, всплыла красноватая горбушка ущербного месяца. Что-то жутковатое показалось в этом Леньке, он засмотрелся на месяц и невольно сбился с шага. Он и не подозревал, что совсем недавно этот месяц, но в те ночи еще полный, светил напрасно ждущей встречи с Ленькой матери.

Ленька затрусил, выравниваясь в цепи.

«Так это же бой! Я иду в бой! — подумал он, холодея. — Сейчас начнется смертельный

огонь. Значит, меня могут убить? Как убили Ерохина?»

От этой, по-новому поразившей его, догадки неприятно забеспокоилось сердце. Мысленно Ленька допускал и прежде, что на войне его могут убить, но не мог поверить, а теперь ощутил — могут. И ему стало страшно, как еще не бывало никогда.

Как сейчас хорошо было бы ему, торопящемуся вместе со всеми навстречу смерти, и с каждым шагом она становится все ближе, — как было бы хорошо исчезнуть отсюда, улететь куда-нибудь, спрятаться и переждать это жуткое время, как в детстве, бывало, пережидал страшную грозу с трескучими ослепляющими вспышками молнии и грохотом грома, сидя в избе под порогом при закрытых наглухо окнах и дверях.

Психическое напряжение было так велико, что Ленька заставлял себя двигаться вперед всеми силами, какие были в его душе. Казалось, грянь выстрел — и он, повернув, бросится обратно. Не сумеет переломить страх.

Но что подумают тогда о нем, увидя, как он убегает с поля боя, испуганно задал он себе вопрос. Ведь это дезертирство! Это позор и смерть. Тоже смерть. Только другая. Еще хуже. Оказывается, и смерть смерти рознь. Нет, прав, выходит, Тетерин — нельзя не идти. Хоть страшно, но надо быть вместе со всеми и не показать им своего страха. Иначе позор. А так он молодец. Не трус. И от этой последней мысли Леньке стало легче.

Он даже удивился, что немцы до сих пор не заметили их. Видать, тоже для порядка военного пускают свои ракеты. Не осторожничают, привыкли, гады. Надеются, видно, на свою обо-

рону. Небось греются в траншее и нос на холод не высунут.

А сердце колотилось в груди все сильнее, уж скорее бы началось, что ли, а то прямо невыносимой становится эта тяжесть ожидания.

Только он подумал об этом, как левее их, совсем близко, должно быть, в передовом охранении, раздался истошный крик:

— Alarm! Russische gespenster![1] — и ударил пулемет.

Ленька сильно вздрогнул. Цепь сразу ожила. Послышались крики командиров: «Вперед! За Родину!» — и пошла щелкотня стрельбы, слышно было, как кто-то материл фашистов.

В своих неразношенных и негнущихся валенках Ленька побежал вместе со всеми вперед, уже ничего больше не соображая, какая-то мощная и холодная сила подхватила его и понесла, парализовав и волю, и чувства, он только подергивал механически затвор своей винтовки и тоже палил на ходу в сторону фрицевских окопов, в которых все гуще и гуще заискрились ответные вспышки. Не думая об этом, он делал в точности то, что говорил Зубов.

Завыли мины. Но теперь окопы фашистов были уже рядом.

— Поздно, суки! — крикнул Ленька, это вырвалось непроизвольно, словно кто-то, помимо Леньки, сидящий в нем, хотел удостовериться, что он — живой, кричащий и бегущий.

Но мины достали их. Одна мяукнула и упала справа, рядом. Одновременно с хлопком взрыва Ленька, хотя и не видел этого, ощутил, что мина «накрыла» Тетерина, почувствовал, что у него самого по животу как теплой рукой провели.

---

[1] Тревога! Русские привидения!

И сразу слабость — из рук сама собой выпала винтовка, ноги подсеклись, и он упал.

Теперь Ленька не воспринимал ни одной клеточки своего тела, все залила боль, сплошная тянущая боль, словно через живот в спину проталкивали толстый кусок раскаленного докрасна железа. И тогда он прижался левым боком к земле, сложил руки на груди, толкая локти в развороченный живот, а стиснутыми кулаками сжал подбородок, подтянул колени и сам весь согнулся. Слабея, он еще прошептал: «Мамоч-ка!» — и затих. Выражение мучительной боли сошло с лица, но сомкнуть рот и веки у него уже не хватило жизни.

Легко раненный пулей в правую руку, Зубов отыскал Ленькино тело около полудня. Пригревало солнце, наст размяк, идти по снегу было трудно. Ленька лежал в яме.

«Как в материнском чреве... — подумалось Зубову. — Похоже, наверное».

С минуту он постоял над Ленькой с обнаженной головой и скорбным лицом. Нагнулся и подолом нательной рубахи, для маскировки наспех пришитой ночью к шинели, накрыл ему лицо.

— Прости, братишка, — сказал он и устало побрел обратно, в отбитую у немцев Андреевку, которую те не успели даже поджечь.

Перескочив фашистскую траншею, на дне которой в разных позах валялись мертвые «завоеватели», оглянулся: каких-то сотню метров не добежал Ленька до окопов. «Скоро подберут тебя и отнесут на вечный покой», — подумал Зубов и пошел дальше уже без оглядки. Ведь не виноват он ни в чем перед Ленькой, а на душе муторно, паршиво, будто его вина, что Ленька убит. Погиб Тетерин, тяжело ранен Фир-

сов, а еще раньше выбыл из строя Ерохин. Один бой, а уже почти половины бойцов нет в отделении.

В тот же день на бугре, на месте сгоревшего во время боя ветряка, выкопали в оттаявшей земле братскую могилу и снесли в нее тела убитых.

После майского праздника почтальонка Зина Лазарева передала Катерине солдатское треугольное письмо, написанное чужою рукой. У Катерины, получившей недавно похоронку на сына, письмо это всколыхнуло надежду, что жив ее Ленька, что просто ранен, вот и написано письмо кем-то чужим. Руки дрожали, когда разворачивала треугольник, не хватало воздуха.

«Дорогие Екатерина Афанасьевна и Михаил Терентьевич, все ваши родные и друзья! Вам пишет сержант Зубов Николай, командир отделения, в котором служил любимый вами сын Леонид. Вместе с бойцами моего отделения я уверен, что вы сумеете набраться мужества и перенести свалившееся на вас горе.

18 марта в наступлении перестало биться сердце вашего сына, моего любимого бойца. Вражеская мина оборвала его жизнь. Он умер без мук. Я не первый день на фронте, повидал смерть, был и сам ранен тяжело. К смерти здесь приходится привыкать, но, поверьте, утрату Лени я перенес так, будто у меня брата убили. В слезы пробило. Сжимается сердце, злоба растет к врагу. Сколько же он погубил вот таких молодых ребят. Ведь им только жить да жить.

Дорогие родители Лени, я могу честно написать вам, что сын у вас был честным человеком, трудолюбивым и исполнительным бойцом.

Он погиб, как подобает воину — в геройском бою. Ничего не поделаешь — война. Но заверяем вас, что мы врага уничтожим и не будет фашистским гадам пощады от нас за смерть вашего Лени и за смерть всех сыновей, отнятых у наших русских матерей.

К вашему сведению сообщаю: похоронен Леонид в братской могиле на восточной окраине деревни Андреевки Сухожильского района Калининской области, на месте сгоревшей ветряной мельницы. Извините, что не сразу написал. Сам был ранен в руку.

На этом кончаю свое письмо. С командирским приветом к вам сержант Зубов. 11 апреля 1942 года».

Командирское письмо, вновь найденное через много лет, уже потерлось на сгибах. Написано оно было химическим карандашом. Катерина осторожно взяла его в руки — и заколыхалось в груди, похолодело. Невольно подумалось: жив ли, нет ли человек, писавший его, прошел ли он через ту войну или погиб тоже где-то сам. На листке были разлинованы какие-то графы, и в одной можно было еще разобрать «бухгалтер», в другой — «женат, детей 6». Остальные надписи стерлись. Видать, командир выдрал лист из своей тетрадки, в которую заносил какие-то сведения о бойцах.

Отыскав это письмо, Катерина поплакала над ним и решительно засобиралась ехать на могилу к сыну.

— Мама, ты не иначе как с ума сошла! — воспротивилась первой беззлобно Клавдия. — Девятый десяток пошел, дома-то едва шлындаешь, а ехать куда-то собралась за тридевять земель, к черту на кулички кисельку похлебать.

Да там уж от могилы-то и следу не осталось. Ты где ее искать-то станешь? Во широком поле, во зеленом раздолье?

— Найду. Тут ведь написано, — тыкала бережно Катерина пальцем в письмо. Она не обиделась на дочь: что делать, если такой характер у человека.

— Да, где найдешь, поросло все быльем, никто и места не укажет.

— Найду-у, — стояла старуха на своем. — Мельница ведь. Это место старые люди помнить должны. Меня в свою деревню поди-ко привези теперь, да я те однем духом покажу, где у нас ране гумно стояло.

— В своей-то деревне, — усмехнулась Клавдия, — конечно, покажешь.

— Дак, у них тоже ведь не чужая, своя, покажут, не самой искать, — не сдавалась Катерина.

И раздосадованная Клавдия ругнула в душе Марию, что не догадалась сестра письмо это «не найти», теперь вот хлопот не оберешься. Кто бы подумал, что мать серьезно засобирается ехать, думали, так, болтовня в утешение, а она вот, погляди, выдала номер какой: поеду, и все.

Другие дочери тоже попытались, но не смогли сломить ее упорство. И она никак не могла понять, зачем они мешают ей перед смертью исполнить долг, съездить проститься с сыном, с прахом его. Все эти разговоры только раздражали ее и больше еще укрепляли упрямство, придавали силы, и она все крепче утверждалась в мысли, что ехать надо, а не ехать — грех.

— Мама, но одна-то ведь ты не поедешь. А мне, к примеру, везти тебя некогда, — говорила Клавдия в другой раз и доказывала, что ни Зина, ни Мария тоже не поедут. — А ехать дале-

ко, — пугала она, — до Москвы надо поездом, а там неизвестно, на чем и как. Может, на грузовике придется, а то и вовсе пешком.

— Сама знаю теперь, что не поедете, — ответила старуха с укоризной. — Найдутся добрые люди, свозят. Найму, за деньги свозят хоть куда. И там легковушку найму, сколь надо, столь и поедет.

Такого оборота Клавдия не ожидала.

— А деньги? — спросила она.

— Да слава богу, на ваши не поеду. Есть у меня деньги, скопила маленько на черный день, в гроб их с собой не возьму, — вздохнула Катерина, уставшая от спора.

— Не блажи, мама. У тебя дети, внуки, правнучки, — уставилась Клавдия, не веря услышанному.

— Мне, мила дочь, никто деньги не наживал. Пускай и они сами наживут.

— Мама, ведь мы тебя допаиваем-докармливаем, — возразила разобиженная Клавдия, понимая, что не надо бы об этом говорить, но не могущая уже сдержать себя. — Люди подумают, что из ума ты выжилась. О нас-то что скажут?

— Вот Леня-то был бы живой, он этак-ту не сказал, посовестился бы, — обиделась Катерина.

— Да чего ты нас Леней-то все попрекаешь: Леня да Леня! Прямо надоело уже, терпенья нет, — взорвалась дочь, не на шутку осердясь, и с каким-то злым прищуром, не замечаемым прежде Катериной, бросила в сердцах: — Иди тогда и живи у своего Лени!

Катерина растерялась, посмотрела на нее с испугом. Потом все-таки справилась с собой и сказала дрожащим голосом:

— Скоро уйду.

Клавдия опомнилась и спохватилась, что уж совсем не то ляпнула, да было поздно, слова вылетели, и не поймаешь, не воробьи. Так и ушла на работу в то утро с маетой на душе.

В оправдание случившейся неприятности с матерью Клавдия уверяла себя, что сестры-то поддерживают ее. Никола разве что опять не согласится. Да и как отпустить такую слабую старуху с кем-то чужим в дальнюю дорогу, потом ведь места себе не сыщешь, все думать будешь, как она там. Вот Никола-то и пускай едет. Нет, брат сам-то небось тоже скажет, что не может. Некогда.

Оставшись одна, Катерина стала думать о дочерях своих. Ей было обидно за детей. Им, видите ли, жалко ее денег. А она уже и с человеком почти договорилась с хорошим, который согласился свозить ее в Калининскую область.

Жила в их подъезде Валя Александрова, она в пятьдесят лет вышла на пенсию, выработала технологом вредный стаж на заводе. Решила два года отдохнуть, а после поработать снова. Крепкая, здоровая еще женщина. Она-то и согласилась сделать доброе дело — свозить Катерину на могилу к сыну, когда разговорились как-то об этом у подъезда на лавочке, куда выходила иногда Катерина подышать воздухом.

А у старушки деньги были, и сил, ей казалось, должно еще хватить на эту поездку. И теперь от непонимания ее детьми, от осознания того, что они хуже чужих людей, Катерине сделалось невыносимо тоскливо. Прямо сердце разрывалось от горя: отчего же они жить-то стали не по совести... И ведь сами немолодые уже... В каждую из них душеньку свою, не жалея, вложила. Это сколь же силушки-то она издержала? Каждую вроде понимала. А теперь что? Зажи-

лась просто, вот что. Зажилась. Надоела всем. Умирать, знать, пора...

И, подумав так, Катерина как-то сразу устала, обессилела.

Она все смотрела и смотрела на портретик сына, увеличенный с маленькой фотокарточки от какого-то довоенного документа, и плакала неутешными слезами.

Придя с работы, Клавдия нашла мать сидящей в своем раскладном кресле.

Сердце старухи не выдержало и остановилось, она была мертва и уже окоченела, прижав к груди портрет сына.

ЛОВУШКА

Степь. Жадно засасывая раскаленный воздух, мотор ЗИЛа катит пять тонн груза, поет свою натужную песню.

Тянется мимо однообразно голая равнина, выжаренная солнцем. Лишь изредка встречаются одинокие чабанские юрты. Сиротливо коробятся они у дороги, покрытые горячей пылью. Отары добивают травку, рыжую и реденькую.

После полудня воздух особенно тяжел. Задыхается все от зноя и безводья. Вороны, раскрылившись в дорожной пыли, разинув клешневатые костяшки клювов, не взлетают перед набегающей машиной, а лениво переваливаются к обочине, волоча крылья. Небольшие серые пташки (может, жаворонки) падают на землю, едва оторвавшись от нее. Степь ждет захода солнца, чтоб глотнуть вечерней свежести.

Даже белоснежная горная цепь, стеной поднявшаяся далеко впереди, не радует, а злит недоступным холодом. Рейс кажется бесконечно нудным.

Сбросить бы с себя кожаный пояс с тяжелым подсумком, откинуть автомат, содрать пропотевшую гимнастерку, зашвырнуть к чертовой бабушке кирзовые сапоги, в которых по шестнадцать часов в сутки пекутся ноги, пробежаться бы босичком по нашей уральской травке да бултыхнуться в речку...

Но здесь об этом можно только мечтать. Расстегнутый ворот да снятая фуражка — вот и вся солдатская радость.

Шофер Володя косится на меня, утомленно роняет веки и тут же упирает взор снова в дорогу, бегущую от столба к столбу... Шофер — гражданский, работает в нашем отряде вольнонаемным, и ходит он только в дальние рейсы. Ему где-то за сорок. Смотрю на кряжистое тело и думаю, что такому громиле не баранку бы крутить на кривых дорогах, а каменья при обвалах где-нибудь в горах вместо бульдозера растаскивать.

Остается с десяток километров до села Карабулак (перевод у этого слова мрачный — черный родник).

— Сержант, може, завернем на бахчу? — спрашивает меня Володя. — Здесь недалече, километра-э два в сторону. А прямо и много меньше, — тянет он пересохшим голосом. — Арбузы-то карабулакские сла-авятся... Сочные. Знаешь-э такие... сахаристо-розовые, прохладные. Прямо вот — тают на языке...

— Жажду утоляют, — подсказываю, разрывая спекшиеся от долгого молчания губы.

Водитель сразу оживился, не заметив ехидцы в моем голосе.

— Утоляют, Юра. Да еще как! — восклицает он. — Поехали?

В душе я готов, однако соглашаться не то-

роплюсь, думаю: «Ну, отклонимся чуток от маршрута, потеряем двадцать — тридцать минут. Время у нас в запасе есть. В конце концов дорог тут, как паутины, велика беда — по другой поедем. Отдохнуть все равно надо...»

Заманчиво ощутить во рту сладкую прохладу. Зама-анчиво.

— А-а, поехали! — машу я решительно рукой; да и кто бы устоял от такого соблазна в полыхающей зноем степи.

Влево отгибается дорога. Мы сворачиваем.

Накат начинает потихоньку таять, таять. Скоро едем чуть ли не по целине. А вот и бахча.

Бесшумно подкатив, останавливаемся у края поля. Шофер смотрит на меня, я — на шофера.

— Попросить надо бы, — роняет он почему-то конфузливо, — так-то брать нехорошо.

— Ну, не воровать же нам, — надеваю свою зеленую фуражку. — Нас и угостят с большим удовольствием.

Едем низинкой вдоль бахчи на ту сторону, где торчит бородавка юрты, в которой живет сторож. Метров за сто пятьдесят до нее поле, видим, распорото ручьем; он пробегает с озорным журчаньем из сопок, подкравшихся к степи слева от нас.

Ручьишко неширок, всего-то около полуметра, но быстр он и глубоко вточился в песчаную почву.

Сразу бросается в глаза, что машины через ручей ходят: в одном месте он разъезжен метров до трех шириной. Немного выше, где узко, через поток переброшены четыре толстенные березовые доски, они попарно схвачены скобами и лежат друг против друга на ширину машинной колеи. Не могу решить, откуда в степи, где и щепка-то на вес золота, взялись новые бе-

резовые доски, которые, как мне показалось, лежат здесь без дела.

Прыгаю по мостку, отковыриваю кусочек белой коры, сохранившейся на ребрах досок, нюхаю — пахнет березовицей (воды насосались через песок). Береза, наша. Может, даже с родины. На душе веселеет.

— По воде ехать — сядем. А плахи не выдержат, — Володя цыкнул губами. — Для какой-нибудь колхозной машинешки приготовлены, скоро арбузы начнут вывозить с бахчи.

— Сядем, это как пить дать, — согласился я. Но насчет крепости мостка у меня не было сомнений, и я сказал Володе: — Доски? Ручаюсь, что они две машины выдержат. Езжай смело!

Водитель все-таки долго колеблется, бьет доски недоверчиво носком ботинка, к машине идет неуверенно, морщится, почесывается, наконец, направляет ее вперед.

Плахи ломаются под задними колесами все четыре разом. Обмирая от ужаса, я вижу, как машина ухает в ручей, взметывая в воздух струи грязи и воды. Со стороны это похоже на минный взрыв.

Володя выскакивает из машины побледневшим, заглядывает ей под брюхо, обходит кругом, пробует сгоряча выдернуть обломки: их накрепко придавило мостом машины. Он ничего не говорит, даже не смотрит на меня, но я замечаю, как на его скулах бегают желваки, и догадываюсь, что он сейчас думает. Мне стыдно! Стыдно за свою самоуверенность. И позорище это жжет мои уши и щеки.

Шофер пробует выехать, но колеса пробуксовывают и только глубже зарываются. ЗИЛ напоминает присевшего пса.

Я замечаю, что к юрте с противоположной стороны едут две машины. Бросаюсь к ним с надеждой, что они помогут выехать.

Нас цепляет на буксир один, а потом и второй грузовик. Но колеса их проворачиваются в сыпучем песке. Шоферы-казахи берут одновременно рывком — трос лопается, будто нитка.

— Бис трактор делат нечива, нечива, — говорит на прощанье один из водителей, разводя сочувственно руками.

И в степи наступает тишина. Возле юрты вьется дымок, маячит фигура старика сторожа. Иногда он, замирая в неподвижности, подолгу смотрит в нашу сторону, но к нам не подходит.

— Да-а, — вздыхает мой спутник, и столько досады слышится в этом негромком возгласе, что, ей-богу, хочется уползти незаметно под широкие арбузные листья и спрятаться там.

День устало клонится к вечеру. Приятная свежесть от ручья незаметно сменяется холодом. А когда солнышко напарывается на скалы, холодок бьет по телу настоящим ознобом. Приходится лезть в кабину. Кишки узлом вяжет: есть хочется. И словно прочтя мои голодные мысли, Володя с тряпкой в руке ныряет под капот, прихватывает с неостывшего пока мотора две консервные банки, несет их в кабину.

— Действуй, сержант.

Нерешительно вскрываю банки, в них — тушенка. Появляется булка хлеба и пара ложек.

— Дальняя дорога научит, брат, запасливости, — ворчит шофер, заметив мое удивление.

Консервы теплые, едим мы их с аппетитом, я даже донышко подчищаю кусочком хлеба, неизвестно, когда еще придется поесть в следующий раз.

— А теперь арбуз тащи! «За доски ручаюсь», — запоздало передразнивает меня Володя. — Ночевать здесь придется. А утром пойдем в Карабулак. За трактором.

В голосе его уже не чувствуется ни капельки злости или досады, и оттого мне становится легче жить.

Арбуз попался удачный, спелый, и, действительно, мякоть на языке тает.

Солнце закатилось. Розовые мазки перистых облачков над хребтом быстро чахнут, умирают. Купол неба на глазах густо посинел, и на притихшую степь враз опрокинулась ночь. У юрты мерцал слабеющий огонек костра, он притягивал, манил к жилью.

Володя, уперев мускулистые руки в баранку и прогнувшись, сладко напрягается, похрустывая суставами, и долго-долго зевает.

— Кричит кто-то, — делаю настораживающий жест.

Со стороны юрты долетает голос, но что кричат — непонятно. Володя, приспустив боковое стекло, высовывается, слушает.

— Нас зовут, — говорит он. — На казахском языке зовут.

— Ты понимаешь по-казахски? — удивляюсь я.

— Знаю немного, — усмехнулся он. — Вырос здесь. Эвакуировались во время войны с мамой, да так вот и остались... Пойдем к юрте.

— Не могу, — вздыхаю я с огорчением. — Груз надо охранять. Иди один. Потом расскажешь, что там.

Недолго поколебавшись, Володя уходит. Оставшись один, я просто так, на всякий случай, освобождаю из крепления автомат. А немного погодя выбираюсь из кабинета в прохладную

тьму. В густой небесной синеве звезды висят диковинными спелыми плодами; крупные, недосягаемые и загадочные, они возбуждают легкое волнение и совсем неземные мысли. Когда начинаешь осознавать, что ты здесь совершенно один, то становится жутковато от неизвестности, и ночная степь кажется вдруг чужой и таинственно зловещей.

Тихо. Будто вечный покой опахнул небо, горы, невидимые во тьме, и равнину. Только вода бьется между колесами, напевая древнюю свою и немудреную, по-азиатски бесконечную песню, которая не нарушает тишины, но делает одиночество еще жутче... Долго стою, не шевелясь. Сильнее стучит сердце, глубже и реже дышится.

И в этот миг я слышу шаги и от неожиданности вздрагиваю. Это возвращается Володя.

— Юра, ты в машине будешь спать? — интересуется он, и мне в нос круто бьет винный запах.

— Конечно! — отвечаю я, неожиданно раздражаясь и из-за того, что он напугал меня, и из-за того, что помешал, и из-за его состояния.

Уловив в моем голосе недовольство, Володя начинает пространно оправдываться:

— Старик меня никак не отпускает. Он тут один. Все лето совсем один. С ума сходит от тоски. Ну, пристал ко мне: ночуй да ночуй у него в юрте. По-русски плохо говорит. А как узнал, что я по-казахски лопочу, о-о! Угощать начал. Ну-у, я маленько и... согрешил. Ты, Юра, не обижайся? Я немного-о. Ну, надо было старика уважить! Ты сам это должен понимать. Так пойду?

Я, конечно, все понимаю.

— Иди-иди... — произношу я наконец грубовато.

— А ты не обижаешься, сержант?

— Да нет.

— Тогда спокойной ночи. — И он снова теряется во тьме.

Я забираюсь в кабину, закрываю изнутри дверцы на защелки, ставлю автомат меж колен и смыкаю веки. Знаю, потеряли нас, беспокоятся, звонят... Ох и влетит, наверное...

А под машиной беспристрастно журчит вода, моет резину колес, навевает покой, мысли незаметно путаются, уплывают и рвутся.

Просыпаюсь от холода, кажется, до костей пропитанный сыростью. Клацая зубами, выскакиваю из кабины, прыгаю через ручей и взбегаю на холмик. Согревшись, замираю и осматриваюсь. Ну и красота вокруг! Огромное солнце пыжится спросонья над вершинами далекого Тарбагатая, дышит розовым сияньем. В другой стороне, за Карабулаком, на фоне подножия Джунгарского Алатау играет серебром гигантское озеро Алаколь. Видно удивительно далеко. Во всем столько свежести. Степь и горы словно родились заново вместе с новым днем. Я вспоминаю вчерашний изнуряющий зной, и не верится, что он был, не верится, что и сегодня он тоже будет.

Приходит Володя. Здороваемся, закуриваем, идем к машине.

— С трактором, конечно, тухлый номер, — говорит он, тускло растягивая слова и глуховато покашливая.

— Почему? — настораживаюсь я.

— Сегодня, Юра, воскресенье. Черта с два найдешь ты кого в селе. Туда и обратно восемь километров. Боюсь, что без толку придется мотаться, — объясняет он с тяжелыми вздохами.

— Что же делать? — Его слова начинают меня тревожить не на шутку. Ведь мне придется держать ответ за эту ночь.

А он пожимает плечами и осматривает машину: пинает колеса, похлопывает ладонью борта, капот. Машина с круто задранным носом, крепко усевшаяся в арык, задним бортом едва не достает землю. Я беспокойно думаю, как же нам быть. И тут меня осеняет.

— Лопата есть? — спрашиваю.

— Две, — косится Володя. — А что?

— Отведем ручей вокруг машины, подкопаем колеса и выедем сами, — поделился я своим планом.

— Мхы-ы, — улыбается он снисходительно. — Пойду-ка я лучше поищу чего-нибудь в степи под скаты сунуть. — Отойдя, бросает через плечо: — Не получится, Юра, ничего с мелиорацией.

«Поищу чего-нибудь», — передразнил я его, начиная злиться. — Захотел в степи «чего-нибудь» найти. Сказал бы прямо, что с похмелья работать неохота».

Я принялся умываться, и мне подумалось, что, если б, к примеру, от того, выберешься отсюда или нет, зависела жизнь? Ну, скажем, война, а мы вот так влипли? И выручки ждать неоткуда? Не-ет, тут вся надежда только на себя, надо пробовать выехать самим! — решил я. И еще меня сверлило желание — доказать Володе правильность моего решения. Конечно, работы будет много, но иного выхода я не видел. «Ща-ас, утру тебе нос мелиорацией!» — бормотал я, отыскивая среди ящиков в кузове лопаты.

Канаву, которая обогнула машину, я прокапываю быстро и легко. Остается пустить ручей новой дорогой, и тогда половина будет сделана.

Уверенно начинаю засыпать старое русло, но не тут-то было: быстрый ручей сносит песок, что я бросаю в воду. Готовлю много песка, складывая на краю кучу, чтобы обрушить весь сразу.

Скоро меня хоть выжимай, а упрямый ручеек и не думает сворачивать в мою канаву.

— Ну, говорю же — тухлый номер!

И снова я вздрагиваю. Да что это за манера у человека такая — подходить бесшумно? Меня охватывает бешенство от его потрясающего спокойствия. Рука так и рвется смазать ему в ухо. Стискиваю зубы, унимая себя, иду вокруг машины на другую сторону. «Флегматик чертов! Мне попадет, может, на губу посадят, а ему и горя мало. Жрать хочется. Тьфу!» Со злости пинаю кустик перекати-поля, еще и еще раз. Разрубаю его лопатой, отвожу душу.

«Хо-о! Да это же выход!» — озарило меня.

Набираю быстро перекати-поля целую охапку. Тащу к месту будущей плотины. Снова готовлю на краю ручья горку песка.

— А ты, сержант, настырный, — щурится Володя, ухватив могучей рукой другую лопату. — С тобой, пожалуй, не пропадешь.

Я молчу. Теперь, наверное, Володя видит, как катаются мои желваки, чувствую: он ищет контакт.

— Ну что, еще одна проба? — спрашивает, подключаясь нехотя к работе.

Насыпаем на обеих сторонах по горке.

— Втыкай лопату! — приказываю я.

От строгости моей он даже опешил на мгновение, но тут же всадил лопату поперек ручья. Наткнувшись на преграду, вода сердито забулькала.

— Пойдешь, мил-л-лая! — плюхаю к лопате перекати-поле.

Струя шипит, останавливается в замешательстве и негодовании, но часть ее уже кривится распухающей жилкой по новому руслу.

— Не зева-ай! — кричит Володя, толкая ботинком песок в перекати-поле.

Кажется, и шофер завелся. Бросаюсь на груду песка. Плотина быстро растет, вода подымается следом за ней, вот последний раз упирается в нее струя и пробивает в одном месте. Тут Володя не выдерживает и шмякает в промоину ногой. Еще рывок, еще несколько лопат песка, и вся масса, коричнево пенясь, хлынула в обход, размывая русло, унося песок, прочищая путь-дорогу. Мы — победили! Разгоряченный работой, бегаю вдоль ручья, не могу долго успокоиться.

Отдышались. Покурили.

— Ишь, ручьишка, — усмехается Володя и трясет головой. — Велик ли, на бахче — весь уходит в землю. А хлопот-то наделал.

Воду из ямы отчерпываем поочередно, долго, ведро одно. У сторожа можно, наверное, попросить второе, но идти к нему ни мне, ни Володе не хочется. Затем откапываем разбухшие березовые обломки, кое-как выручаем их из-под моста машины. Просто на зависть силен этот Володя.

Перебрав под кузовом не одну тонну грязи и мокрого песка, ползая на четвереньках, раскапываем наклонный выезд, на котором машина стоит колесами. Подсыпаем сухой песок. Солнце вновь печет немилосердно, как и вчера.

— Попробуем? — осторожно спрашивает Володя, подавляя волнение.

— Давай, — соглашаюсь я, волнуясь не меньше; боюсь обмишуриться со своей идеей, как вчера с мостиком.

Пробуксовывая, колеса карабкаются кверху. Машина вся дрожит. Вдруг мотор от натуги глохнет. Железная громада скатывается обратно.

Переждав, шофер снова запускает мотор, нервничая, долго нагазовывает. Наконец трогает.

Момент — скручивающий мои жилы. Состояние такое, будто это я своими руками выталкиваю машину, ощущая спиной ее пятитонную тяжесть.

Ух! Выехала!

Володя выскочил из кабины, глаза его ожили, блестят. Словно сговорясь, мы поворачиваем головы в сторону ямы.

И страшно еще, и уже приятно. И вместе с радостным возбуждением новое, незнакомое чувство шевельнулось в моей груди, перед которым отступили все страхи...

УВАЛЕНЬ

— Погодка-то стала портиться, похоже, — сказал шофер, отъехав немного от КПП. — Видать, отстояли хорошие недельки.

Жена капитана Муравьева, начальника заставы, посмотрела в сине-серую степь, даль была затянута седой дымкой, в которой мутно вырисовывался силуэт горного хребта; по снегу змееватыми струйками бежала поземка, в небе ветер лохматил тучи, и они клубились в быстром лете. Но во всем этом Татьяна Дмитриевна не увидела ничего особенного. Она не могла понять, почему водитель встревожился и стал подгонять машину.

Колеса чутко ловили толчки каждой выбоины жесткой накатанной дороги, пугая Татьяну Дмит-

риевну, которая в такие моменты хваталась одной рукой за скобу на панели «газика», а другую осторожно клала на живот, туго натянувший застежки пальто. Порой морщилась, восклицала:

— Саша, пож-жалуйста пот-тише!

Она была на седьмом месяце беременности и береглась.

Лужбин послушно гасил скорость, но ненадолго. Он ни на минуту не забывал, что до заставы сорок пять километров, и, опасаясь бурана, торопился. Нога его как-то непроизвольно нажимала на педаль, и на ухабах он виновато косился на Татьяну Дмитриевну.

Она сердито хмурилась. Потом ей вспомнилось удивленное лицо сержанта, который пропускал «газик» через КПП, и она посмотрела на Лужбина пристально, улыбнулась: действительно, есть чему удивиться, взглянув на его внешность со стороны. Шапка у Лужбина была сдвинута на затылок и обнажала крупный бугристый лоб с залысиной посередине. Меж розовых щек торчал большой округлый нос. Глазные впадины — глубокие, уши оттопыренные. Тело крупное и, видимо, сильное.

За все время, которое Муравьева знала этого солдата, она впервые разглядела, что у него трогательно-грустные карие глаза.

Зная, что из-за нескладной внешности и добродушного характера этот увалень был на заставе постоянной мишенью для солдатских шуток и острот, Татьяна Дмитриевна жалостно вздохнула. Ей казалось, что ребята относятся к нему слишком снисходительно, как к человеку пустоватому. А вот муж говорит о своем шофере с похвалой и уважением.

Ощутив на себе изучающий взгляд, водитель

свел недовольно брови, и Муравьева отвернулась.

— Саша, сколько тебе осталось служить? — поинтересовалась она.

Солдат поднял над баранкой увесистый кулак, прижал мизинец большим пальцем и, встряхивая рукой, выбросил по очереди указательный, средний и безымянный пальцы.

— Февраль, март, апрель. — Помолчал и добавил нехотя: — Может, май.

— Наверное, домой хочется?

— Конечно, — дернул он плечами, будто удивляясь: как это можно задавать такие вопросы? — Ух, домой попаду в хорошую пору. — Он встрепенулся и, должно быть, представив эту «хорошую пору», заулыбался: — Приеду и первым делом в лес! Соскучился. У нас на Урале та-акие березники да ельники...— Он мотнул головой, указывая в правую сторону: — Во, старается!

Татьяна Дмитриевна посмотрела на одинокий карагач в низинке у обочины дороги. От сильного ветра дерево изогнулось коромыслом, разметав тонкие длинные прутья.

Свирепея, ветер все чаще упирался порывисто машине в лоб, и она заметно теряла при этом ход. Клочковатые тучи неслись и клубились теперь совсем низко, толкая друг друга своими мохнатыми боками.

И вот из них посыпал снег, да таким крутым валом, что Лужбин сбавил скорость почти до пешеходной. День словно опрокинулся. Свет померк. Налетел вихрь и густым снегопадом сразу накрыл степь. Завыл буран. Тьма прихлопнула в широкой степи маленький «газик». Дорога совсем пропала, будто и не бывало ее здесь. Лужбин включил фары — тучи и тучи лохматых хло-

пьев сыпались в свете на лобовое стекло, и щетки едва справлялись, отгребая снег. Казалось, что машина летит в пространство, а на самом деле колеса ее бесполезно крутились на одном месте. Лужбин выключил скорость и остановил щетки — стекло вмиг запотело.

— Приехали. Приехали, кажется. Ч-черт,— добавил еще раз с явно злыми нотками, прорезавшимися в голосе.

А злился Лужбин оттого, что если б не Татьяна Дмитриевна, он поддал бы газку и на хорошей скорости ушел бы от бурана-басмача. Потому что знал, каким он бывает здесь, в степи, когда солнечная тихая погода за короткое время сменяется вот такой внезапной завирухой. А Татьяна Дмитриевна не знала. Ее муж служил в этих краях первый год.

— Может, вышлют нам помощь? — предположила робко она.

Склонив голову на руль, Лужбин сказал:

— Похоже, буранчик затяжной. В такой кутерьме нас трудно отыскать. В двух метрах ничего...

От его слов у Татьяны Дмитриевны стало беспокойно на душе, как холодок завихрился. Зачем он говорит ей об этом, глупый, и без того страшно. Знала б, что попадет в такую переделку, ни за что бы не поехала к врачу именно сегодня. Но опять же, если подумать, то как было не ехать? В другое время специально из-за нее пришлось бы машину с заставы гнать, а тут по пути: мужа вызвали в отряд на штабные учения. Он там остался, а она сделала свои дела и возвращается. От врача вон в каком приподнятом настроении вышла. После осмотра он сказал, что все идет самым лучшим образом. Единственное, что требуется теперь — поберечь-

ся. «Кого хотите?» — спрашивал он. Татьяна Дмитриевна страшно смущалась и отвечала, что девочку. И сейчас не за себя даже испугалась, а только за будущего ребенка, которого они с Володей так ждут. Оба хотели, чтоб родилась девочка. Теперь муж наверняка уже позвонил из отряда на заставу, узнал, что машина не пришла до бурана, и от переживаний места себе не находил. Нет, помощь-то им должны выслать.

Уже два с половиной часа машина таращила в пургу бельма заснеженных фар, клокоча мотором. Вокруг вспучился сугроб, плотно примел левую дверцу. Струйки холодного ветра сочились сквозь щелки.

Татьяна Дмитриевна закутала ноги в драный полушубок, который шофер возил в багажнике и использовал как подстилку, если приходилось лезть под машину, ремонтируя ее.

Достав автомат из крепления и на всякий случай уложив его на колени, Лужбин смотрел с обреченностью на прибор: бензин вот-вот должен был кончиться, стрелка приближалась к нулю. Саша ругал себя последними словами и каялся, что сегодня не заправился в отряде. Никогда не упускал такой возможности. Выезжая в отряд (правда, случалось это не часто), специально, бывало, не дозаправлял бак, чтоб обратно вернуться с полным. Лужбин даже гордился своей хозяйской хитростью, благодаря которой он как бы хотя и немного, а помогал отряду снабжать заставу горючим. Но сегодня, как на грех, не хватило времени заскочить на заправку. Весь день провозился в гараже с мотором. Но когда выбрался из гаража, Татьяна Дмитриевна уже поджидала его. И хватило бы, конеч-

но, бензина, если б не попали в пургу. Теперь машина стояла, дожирая горючее.

Лужбин опустил левую руку за сиденье, привычно нашарил телефонную трубку и, сознавая глупость своей затеи, сказал:

— Попробую все-таки розетку поискать и подключиться к заставе. Пока движок стучит...

Делать все равно что-то надо было, и он решил начать с этого.

С силой оттолкав приметенную снегом дверцу, вылез наружу. Тотчас его забросало колючими, как дробленые сухари, хлопьями. По пояс проваливаясь, пошел наугад в сторону. Было жутковато, и он для смелости ворчал себе под нос: «Та-ак. Столбы у нас телеграфные метрах в пятидесяти от дороги. Только как вот на столб набрести. Не промахнуться. Да в этом месте и розетки может не оказаться... Черт его знает где мы остановились. Сейчас и не определишь никак».

Часто оглядываясь, отошел от машины недалеко, а видно стало лишь тусклое желтоватое пятно света, в котором густо и плотно завивался снеговой рой. Мелькнула мысль о том, что если погаснет неожиданно свет, то в этом омуте тьмы и снега машину не отыскать... Мотора не слышно. Сделав после этого пару неуверенных шагов, Лужбин подумал о себе, здесь, в стороне, собственная жизнь в сравнении со стихией, которой не было края, показалась ему маленькой, беззащитной и хрупкой, как та лампочка от фары, которую менял сегодня и выронил из рук на бетонный пол... Ему стало страшно, он вздрогнул и, буровя снег и увязая в нем, поспешил обратно.

У дверцы потоптался, отдышался, успокоился. Отгребая сапогом сугроб, заметил, что буран

сровнял дорогу заподлицо с полем, но по обочине гребешком, непокорным метели, торчит бровка затверделого снега, давно сдвинутого скребком бульдозера.

«Ориентирчик неплохой», — отметил он, забираясь в машину. Рядом с Татьяной Дмитриевной было совсем нестрашно.

— Нашел? — спросила она, не поворачивая головы.

— Нет, — ответил Лужбин, сильно и глубоко вздохнув.

Он глянул на часы — половина девятого. Накрутил заводную головку, хотя имел привычку заводить часы ровно в девять, считая, что они тоже привыкли к этому. С минуты на минуту он ждал последнего вздоха мотора, и теперь хотелось даже подогнать этот момент, который, растягиваясь, волновал еще больше.

Вскоре мотор заработал торопливо, с перебоями и — захлебнулся. Теперь слышалось только гудение ветра, как в большой, до самого неба трубе. Надсадно и тревожно хлопал на «газике» брезентовый тент, с осени утепленный изнутри старыми байковыми одеялами, которые удалось выклянчить у старшины.

— Татьяна Дмитриевна! — позвал Лужбин. Она медленно открыла глаза, потрясла головой, разгоняя дремоту, и повернулась к нему. — Надо бы на заставу пробираться, а то мы в этом «козлике»... холодно будет.

— Куда идти в такую погоду? — удивилась она. — У меня здесь-то ноги уже замерзли. Да, по-моему, мы сразу же и заблудимся.

— Нет, мне кажется, надо двигаться! — убеждал ее Лужбин. — К нам если идут, то мы встретимся. Нет — сами придем. Давайте со-

бирайтесь. Я сейчас. — И он вылез наружу, резко хлопнув дверцей.

Татьяна Дмитриевна размышляла, что же делать. Предложение идти пугало ее, хотя было ясно, что Лужбин прав, мудрее сейчас ничего не придумаешь.

Вернулся он минут через пять — семь, шумно дыша на покрасневшие пальцы.

— Воду слил, чтоб радиатор не прихватило, — пояснил он.

Муравьева не ответила. Очень нужна ей какая-то там вода. Лужбин, вспоминая, далеко ли он успел проехать от придорожного карагача, прикидывал, сколько осталось до заставы. «Километров, пожалуй, семь будет. Значит, получается, что до балки от нас около трех. В балке — стог сена. В случае чего, можно будет в него закопаться. До затишья. Все равно это лучше, чем здесь дуба давать. Нет, надо идти. Хотя бы до балки».

И он сказал настойчиво:

— Татьяна Дмитриевна, надо идти!

— Ну что ж, пошли, — согласилась она.

Лужбин, взглянув на ее ноги, сообразил, что в сапожках далеко не ушагаешь. Подумав, он вспомнил, что в багажнике у него есть комбинезон. Достал его, помог Муравьевой натянуть его прямо на пальто. Штанины выпустили поверх сапожек, и теперь снег уже не мог набиваться за голенища.

Он погасил свет в кабине и вышел первым. Закинув автомат за спину стволом вниз, помог выбраться Татьяне Дмитриевне. Драный полушубок оставили, лишний груз.

Тьма вокруг была такая, которую, наверное, и называют кромешной. Они взялись за руки. Ветер хлестал в лицо, рвал одежду, гнул их. Они

поворачивались к нему то одним, то другим боком. Лужбин шел впереди, угадывая бровку поступью ног. Так, на ощупь, и продвигались, медленно, то и дело срываясь с узенького гребешка в свежий убродный снег, но шли вперед, все ближе к людям.

Сколько отшагали, неведомо. По времени судить — много, по скорости — мало. Оба стали коченеть. У Лужбина прищипывало на ногах пальцы. Кроме того, он давно заметил, что Татьяна Дмитриевна, как оступится, уже не напрягает свою руку и не сжимает пальцы, чтоб удержаться; рука ее оставалась вялой и покорной. Видать, выбилась из сил. Но пока она держалась. И только когда совсем ослабла, села и сказала обреченно:

— Не могу, Саша...

И отчаяние, и безнадежность, и мольба послышались Лужбину в ее голосе. Он дал ей немного отдохнуть, притопывая ногами, стараясь отогреть замерзающие пальцы. Перевесил автомат из-за спины на грудь. Помог Татьяне Дмитриевне подняться и взял ее на спину.

В этот миг она не думала ни о Лужбине, ни о себе, она воспринимала себя только как мать нерожденного ребенка, все чувства были обращены к нему, и ее сводил с ума ужас при мысли, что может его застудить, и тогда он умрет, не родившись. Она прижалась животом к спине солдата, обняв его плечи. Лужбин подхватил ее под коленки и понес, уже не заслоняясь от ветра.

Он не был уверен, что так унесет ее далеко, но шагал и шагал вперед, решив нести, сколько сможет. Ветер сек его колючим снегом по лицу,

выбивая слезы, замораживая их шариками в густых ресницах, леденя щеки. И Лужбин думал: «Только бы не свалиться... Не упасть...». Знал, что, если оступится, больше живую обмякшую женщину ему не взвалить на себя. Руки его уже давно затекли, замерзли и готовы были разжаться в любую секунду. Постепенно они предательски опускались все ниже, Татьяна Дмитриевна сползла, и он сильнее горбился, чтоб удержать ее тело на своей спине. Зато ногам стало теплее: или он их перестал чувствовать, или они согрелись от напряжения.

Лужбин ощутил уклон и смекнул, что добрался наконец до спуска в балку. Здесь намело меньше, идти можно было прямо по дороге, на взлобке ветер сгонял с нее снег.

Теперь до стога он ее хоть как донесет. Вот и мостик через ручей под ногами. А стог сразу за мостиком. Только десять шагов вправо, десять — не больше. И тогда они будут спасены.

Свернул в сторону — провалился и упал, уронив Татьяну Дмитриевну. Она застонала. Лужбин долго лежал, уткнувшись лицом в снег, и не шевелился.

Отдохнув, он потянул Муравьеву в ту сторону, где должен быть стог. Тащил ее, квелую, пока не уперся спиной прямо в стог. Обрадовался, что сразу наткнулся на сено, повезло.

С подветренной стороны начал рыть спасительную нору; слежавшееся сено плохо поддавалось закоченелым рукам. Никогда еще Лужбин не чувствовал себя таким беспомощным, и от обиды хотелось зареветь. Хоть зубами теребн это сено проклятое.

Но за работой незаметно подобралось тепло

к кончикам пальцев, и они стали больно саднить. Когда нора прошла за половину стога, Лужбин втащил в нее Татьяну Дмитриевну. Сдернул с ее рук варежки, стал растирать холодные пальцы. Потом разул ее и начал мять ноги. Она всхлипывала, шептала, что очень больно, а он тер и тер, повторяя машинально, как заведенный:

— Ничего... Поморозились маленько... Ничего... Поморозились маленько...

Почувствовав наконец живое тепло ее ног, снял с себя бушлат, укутал их и с усталым выдохом повалился на бок.

Молчали. Татьяна Дмитриевна прислушивалась к завыванию вьюги, стараясь отвлечься. Затхлая сенная пыль набилась в нос, высушила рот, и хотелось сильно пить.

— Чаю бы сладкого сейчас, — проговорила она, не удержавшись.

Лужбин не ответил.

Внутренне Татьяна Дмитриевна по-прежнему была сосредоточена на ребенке, прикрыв глаза и затаивая дыхание, старалась уловить, не подаст ли он какой знак о том, как себя чувствует после всех этих передряг. «Миленький ты мой, бедный пограничник», — подумала она о ребенке почему-то как о мальчике и невольно всхлипнула.

— Саша, — спросила Татьяна Дмитриевна,— а мы здесь долго сможем просидеть?

— Конечно, хоть сколько просидим. Здесь-то мы спасены, — заверил он, понимая, однако, что и тут скоро начнут замерзать. Поесть, так тогда б еще можно было продержаться.

Но есть было нечего.

— Саша, это что, мыши шуршат? — спросила, прислушиваясь, Татьяна Дмитриевна.

— Нет, я ноги грею, не отойдут никак, — ответил он и, помолчав, добавил: — Знаете что, я, пожалуй, пойду.

— Куда?! — насторожилась она.

— На заставу, за помощью.

— С ума сошел! — воскликнула Татьяна Дмитриевна.

По шороху сена в вязкой тьме он догадался, что она привстала.

— Поймите, — заговорил Лужбин торопливо, — что вы... что вам... На холоде нельзя! А до заставы здесь рукой подать.

— Я боюсь одна.

— Не надо бояться. Тут бояться-то нечего,— успокаивал он ее, готовясь выбраться наружу.

— Ну хоть бушлат тогда возьми! — предложила Муравьева, нащупав его руку и сжав ее.

— Вам здесь сидеть неподвижно. Может, долгонько. Пригодится. А я один-то быстро побегу, а когда двигаешься, сами знаете, тепло. Вы только не ленитесь руками-ногами пошевеливать, не давайте себе промерзнуть. И все будет нормально. Я постараюсь быстро, я моментально, бегом, — внушал ей Лужбин.

Затянув под подбородком тесемки ушанки, вылез из норы, заткнул ее нетеребленным сеном, закинул автомат за спину и, съежившись, двинулся к дороге. Похоже, однако, что его бодрый, уверенный тон успокоил Муравьеву. Ничего, должна высидеть. Конечно, одной страшно, по себе почувствовал, выбравшись наружу.

Ощутив под ногой бровку, он зашагал к заставе.

Едва Лужбин выбрался из балки на равнину, как ветер-резун стал пробирать его насквозь,

словно старательно обглаживал каждую косточку. Мерзла от металла спина, меж лопатками будто плоскогубцами щипали. Совсем не грели варежки-двупалки. Они успели замаслиться, пропитаться мазутом, бензином и не держали тепла. Он то прятал руки под мышки, то резко начинал ими встряхивать. В стогу — рай по сравнению с открытой степью. Когда настраивался идти и говорил об этом Татьяне Дмитриевне, представлял себе все гораздо проще.

В какой-то момент он понял, что, если не дойдет до заставы и не скажет, где Муравьева, она может замерзнуть. «Никому и в голову не придет искать Татьяну Дмитриевну в стогу, — подумал он. — Вот если бы машина стояла поближе к стогу, тогда еще можно догадаться. А так... Навряд ли. Надо дойти! Надо! Хоть на карачках. Попробую бегом, — прошептал он. — Эх ты, черт лохматый-стриженый. Ноженьки-то, как деревянные. А окостенеть здесь мало радости. Жить охота. Я еще не пожил».

Ноги все чаще срывались с бровки. Холод крючил тело. А он шел и шел, и казалось, никогда не будет конца этому темному воющему пространству.

Ослабев, он резко споткнулся и упал, автомат ударил по затылку, и острая боль пронзила голову. Подниматься не торопился: хотелось немного отдохнуть, лежал, не чувствуя лицом снега. Ветер выл протяжно, он приметал услужливо сугробчик, в котором казалось так тепло. И уже не было желания больше вставать. Приятно было расслабиться. Непреодолимо потянуло в сон.

«Не-ет. На за-ста-ву-у», — понимая, что начинает замерзать, он хотел встать, но не смог подняться.

Стрелять, решил он, застава, наверное, уже

недалеко, и, может быть, часовой услышит выстрелы.

В несколько усилий Лужбину удалось стянуть автомат, но задубевшие пальцы не могли передернуть затвор. Выронив оружие, он пополз вперед. «Бровка, бровка...» — теплилось еще в сознании.

Но бровку он не чувствовал и, как в дурмане, заползал по ветру все дальше и дальше.

А ветер шумел и шумел над ним, будто дремучий лес колыхался, отмахиваясь ветвями. И в сладкой дреме виделось Лужбину, что он вернулся на заставу после наряда, вычистил автомат, поел молока с теплым белым хлебом, недавно вынутым хлебопеком из печи, и сейчас развалился в сушилке среди груды валенок и ватников, а фельдшер Юра, пощипывая струны гитары, поет: «...на границе часто снится-я до-ом ро-одно-ой...».

Ветер дул такой сильный, что на линии где-то сорвало провода, и о том, что буран захватил машину Лужбина в дороге, на заставе узнали не сразу, а лишь после того как капитан Муравьев, беспокоясь за жену, связался с заставой по рации и спросил, приехал ли Лужбин с Татьяной Дмитриевной.

Ребята из группы поиска наткнулись на брошенный ГАЗ-69 и, не встретив Лужбина и Татьяну Дмитриевну, поняли, что они пошли пешком, сбились с дороги и затерялись в степи. Где искать их в буране, который с ног валил?

Вымотавшиеся пограничники приближались к заставе, едва волоча ноги. Впереди шел инструктор Власов с собакой.

Неожиданно Альфа дернулась в сторону и,

придушенная натянувшимся поводком, заскулила с хрипом. Власов отвязал поводок от пояса и направил на собаку луч аккумуляторного фонаря. И тут увидел в снегу торчащий приклад. Усталости как не бывало.

— Альфа, ищи! — скомандовал инструктор и спустил овчарку с повода.

Она метнулась вперед, но тут же вернулась, еще раз обнюхивая автомат, — от него резко пахло только смазкой, снова отбежала, и снова ничего не выводило Альфу на след. Собака засуетилась. Это была превосходная овчарка, но еще очень молодая и неопытная. По голосу хозяина она почувствовала — он нервничал, требовательно твердя: «Альфа, ищи!».

Замерли остальные пять залепленных снегом призрачных фигурок. Теперь вся надежда была на Альфу. Понимая, что хозяин хочет найти что-то очень важное, и ощущая свою беспомощность, она взвизгнула.

— Спокойно, спокойно, Альфа! — проговорил Власов и сам от этой команды тоже успокоился. Он отвел луч света, чтоб не слепить собаке глаза, и позвал ее: — Ко мне! — Затем направил овчарку еще раз понюхать автомат, к которому пока не прикасался. — След, Альфа! След!

Услышав хладнокровное, жесткое приказание, какое обычно хозяин давал на тренировках, она поняла, что надо делать, и пошла от «предмета» по кругу, наматывая спираль. Обрезанный вьюгой свет фонаря потерял Альфу после первого же круга.

Спустя некоторое время собака подала тревожно голос. Ветер сносил лай, и он казался слабым и далеким.

— За мной, ребята! — И Власов бросился на

лыжах вперед, распарывая лучом снежные сети.

Скрюченное тело шофера покоилось в снегу. Парни снимали с себя полушубки и заворачивали в них Лужбина. Инструктор послал овчарку в новый поиск. Но вернулась она ни с чем. По всей видимости, шофер шел один. Решили нести его поскорее на заставу. Он не дошел до нее каких-то четыреста метров.

В медпункте Лужбина раздели. Смачивая вату в разведенном водой спирте, стали растирать и массажировать Лужбина, делали ему искусственное дыхание.

О том, куда делась жена капитана, гадал сейчас каждый. Где, в каком направлении ее искать? Сказать это мог только Лужбин.

От непрерывного растирания тело наконец закраснелось. И тут Лужбин приоткрыл глаза. Заметив это, фельдшер и инструктор склонились над ним.

— Саня, Сань, ты меня узнаешь? Это я, Юра. Ты на заставе. Ты дома. Скажи, где Татьяна Дмитриевна? — Он был уверен, что Лужбин закопал ее где-то в снег.

Впадая в глубокий сон, Лужбин едва шевельнул губами. Но по движению их и по выдоху едва слышного звука Власов уловил: «Стог».

— Она в стогу! — воскликнул радостно инструктор, выпрямляясь мгновенно, как пружина. — Вот мы где разминулись с ними!

Ни один пограничник из группы поиска отдыхать не остался.

FRUCTUS TEMPORUM

Рассвет занимался вяло. И хотя не развиднелось еще толком, а Колька уже наворочал пер-

вый воз сена. Пораньше думал закончить, отец велел за своим сеном сгонять, ждать будет к часу. Он заехал в коровник и не успел сено сгрузить, как вышла из кормокухни дежурная доярка Файка Воробьева, звонкоголосая баба, часто швыркающая носом.

— Колянко-о! — крикнула она в его сторону. — Звонил Серега из Быкова. Посылайте, говорит, Кольку по меня...

— Какой Серега? — нахмурился недовольно возчик.

— Да Грушкин сын. Домой, говорит, едет, архаровец. Давай, Коля, встречай шурина своего.

И ушла, посмеиваясь. До чего ж все-таки ехидная бабенка.

— Ш-шурин! — прошипел Колька и плюнул ей вслед. — Да я в гробу таких шуринов видел!

Он воткнул вилы, повалился в стылое сено и закурил. Ехать ни с того ни с сего встречать Грушкиного сына, который отсидел два года за драку на зерноскладе с заводскими рабочими и теперь, видать, возвращается домой, Кольке не хотелось.

«Лошадь ему давай... С каких паренок? — ворчал он сердито. — Шесть-то километров пешком пройти не может? Вот господин какой бубновый туз!»

Колька зло зафитилил окурок в желоб с навозной жижей и снова принялся сбрасывать сено за кормушки к стене. Ближняя корова, пыхтя ослизлыми ноздрями, потянулась к сухим, но зеленым стеблям. Выметывая крюком язык, она норовила ухватить сено, усыпанное соблазнительной клеверной головкой.

— К-куда, падла, лезешь! — заорал на нее

Колька, огрел по рогам зазвеневшими вилами, вскочил на пустые дровни и, надергивая вожжи, погнал Ястреба сквозь ферму к выходу, не обращая внимания, что оглушенная корова, вскинув голову, ошалело дернулась изо всех сил назад и вляпалась рогами о перекладину над кормушкой.

Колька подворотил Ястреба к початому зароду, остановил и стал набрасывать новый воз, твердо решив про себя, что за Серегой не поедет. Но уже не стало прежнего желания работать, а разговор с Файкой не выходил из головы.

В начале сентября младшая сестра Сереги, Зинаида, родила от Кольки ребенка. А недавно Колька после получки пришел поздно ночью к их дому и стал ломиться в запертые двери. Его не пускали. Потом Грушка, мать, все-таки вышла в сени, сказала, что Зинухи нет дома. Тогда Колька подошел к окну, ухватился за высокий наличник, подтянулся и увидел, как Зинка сидит в углу на кровати, подвернув ноги калачом, и кормит грудью ребенка.

«А-а, обманываешь меня!» — обозлился он и стал колотить в двери пуще того. Опять Грушка не выдержала, вышла в сени и теперь уже начала стращать.

В ответ на это Колька закричал:

— Открой, тебе говорю, да пусти. Хочу на дочь глядеть. Пускай, а то ведь двери в щепки изрублю к чертовой матери!

— Ты че, строил их, двери те! Я вот «изрублю» тебе сейчас палкой по хребтине-то, сопляк! — рассердилась Грушка.

Послышалось, как она выдергивает засов, на

который запиралась дверь. А Колька знал, что засов тот березовый не короче полутора метров. Но хотя и испугался, когда дверь распахнулась, а подумал про себя, что это она его берет на арапа. Грушка же через открытую дверь треснула парня палкой прямо по голове, приговаривая:

— Забудь сюда дорогу, пьяница! Забудь! Изувечил девку, паразит ты такой, да еще измываться над нами пришел!..

«Какое увечье, если сама согласилась?» — мелькнуло в голове у Кольки. И чтобы не поддаться бабе для второго удара, шагнул вперед, схватил Грушку за руку. Она в ярости сильно отпихнула его. Колька оступился с крыльца, но руки Грушкиной не отпустил, лишь крепче вцепился в нее, потеряв равновесие. И оба, не устояв на ногах, покатились с высокого крыльца на мерзлую землю, припорошенную жиденьким снежком. Пока падали, перекувыркнулись, и Колька придавил Грушку. Она крякнула, а потом завыла, запричитала, что искалечил он ее.

Орала она на весь околоток и не вставала, будто через нее трактор переехал. Колька этого крика сильно испугался и, вскочив, стал растерянно озираться. Он думал, что на крик матери выбежит Зина и ему будет очень стыдно. Повидимому, Грушка надеялась именно на это. Но Зинка не вышла, и тогда она, не переставая причитать и обзывать Кольку, села. Увидев рядом засов, который свалился с крыльца вместе с ними, взяла его и, опираясь, начала подыматься. А когда встала, первым делом принялась поправлять платок. И вдруг, неожиданно бойко изловчившись, еще раз огрела Кольку. Вроде и не сильно огрела, но попала теперь по уху, по хрящу. И показалось Кольке, будто паяльную лам-

пу огненным пучком наставили на самое ухо: и гудело, и жгло.

Но Колька больше Грушку не тронул, отступился. Она тяжело поднялась на крыльцо, сказала:

— Завтра, голубчик, увезут тебя на пятнадцать суток! Уж теперь-то я тебе не спущу! Хватит, поколобродил, — и дверь закрыла.

Видать, сильно тогда ударилась Грушка о мерзлую землю, несколько дней на работу не ходила, болела. Но его на пятнадцать суток не посадила. А вот если пожалуется теперь ненароком сыну Сергею, тот и бока может помять. Морду где-нибудь намылит, и стриженого ногтя с него за это не спросишь — отпетая головушка. Поди уж прописано ему все в письме? Серега ведь знает откуда-то, что он, Колька, на ферме работает. Позвони-ил...

Поразмыслив и поостыв, Колька понял, что не ехать за Серегой нельзя. Вздыхая и морщась, он набросал сена едва повыше головки дровней, спихнул корм в ферме и, выехав, направил Ястреба к Никитовскому мосту, через который на Быково шла торная свеженакатанная дорога. «Ладно, — думал Колька, — черт с ним. Сгоняю. Привезу — и сразу домой. Поедем с отцом за своим сеном».

Серегу встретил на въезде в Быково. Тот, видно, настроился уже добираться пешком и выходил из улицы в поле. И Колька подумал, что можно было, наверное, не ездить.

В руках Серега держал большой новый портфель, кожа которого поблескивала чернотой, как сырой пласт чернозема, перевернутого плугом.

Приближаясь, Колька насторожился, подобрался весь и не заметил, как руки сами собой подтянули вожжи. Ястреб, почуяв такое дело,

голову приподнял, уши навострил, с опаской смотрел на человека с чем-то пугающе черным в руках и, на всякий случай, готов был отскочить в сторону.

Колька догадался, что надо расположить Сережку к себе, понравиться ему. Ослабив левую вожжу, он встряхнул ее и, когда вожжа, выгибаясь, приподнялась, резко натянул ее, шлепнув Ястреба звучно по спине. Вздрогнув, конь сразу повернул круто в обратную сторону, подчиняясь воле ездока, и, остановленный после разворота, настороженно замер.

Серега подошел. Колька улыбнулся ему широко, хотя совсем не было такого желания, и, стараясь казаться рубахой-парнем, своим, сказал:

— Здаррова, Сережа! С приездом!

Он сорвал варежку и лихо протянул горячую от волнения руку навстречу. Но тут же понял, что поторопился: рука висела в воздухе. Не отрывая взгляда от истрескавшихся Колькиных пальцев, согнутых, будто он все еще сжимал невидимые вилы, Серега сдвинул куцеватую кепку на затылок, показал белесую щетину стриженой головы. Колька постарался улыбнуться еще приветливей, но лицо «шурина» оставалось бесстрастным. И Колька чувствовал, что изнутри накатывается обида.

Серега посадил кепку на место. Колька опустил руку и угрюмо подвинулся ближе к головке дровней, уступая на сене место для Сереги.

В этот момент тот и протянул свою мослаковатую, жилистую руку, сказав:

— Здорово, медведь... Плюшевый.

Неожиданно для себя Колька быстро и крепко пожал ее и тут же подосадовал: получалось, что он как бы принял этим Сережкину власть

над собой. Колька привык, чтоб все было просто: здравствуй так здравствуй, а нет так нет. Серега же навязывал ему непонятное и чем-то пугающее обращение, от которого Колька так внутренне напрягся, будто он, идя в лунную ночь, увидел неожиданно кладбищенский крест, свежий, белеющий.

— Ну, Колян, — вальнувшись на сено, сказал Сережка, — прокати-ка ты меня с ветерком на своем сивко.

— Да ведь это карько... — возразил возчик.

— Все равно, Колян, понужай. — Разгоняя неуклюжего Ястреба на крупную рысь, Колька смотрел в серые глаза спутника, и тот, строго прищурясь, продолжал: — Со мной один хороший товарищ тянул, за мокрое дело... Вот написал·он роман, назвал его, понимаешь ли, «Мертвые души» и любил говорить: «Какой русский мужик не уважает быстрой езды...»

Он толкнул несильно Кольку в плечо и задохнулся в хохоте. Колька тоже захохотал, при этом с жутью подумав, что, видно, тот «хороший товарищ» не одно мокрое дело успел сделать, раз мертвых на целую книжку хватило.

— А вообще-то ты, Колян, подрос за эти годы сильно. Возмужал. Но — темнота-а... fructus temporum — плод времени, как говаривал, бывало, рыцарь Айвенго. Чему тебя восемь годиков в Пашанской школе учили? — поморщился уксусно Сережка, насмеявшись, и стал живо разглядывать места, по которым они проезжали.

Колька почувствовал себя жалким, униженным. Ох, как было ему сейчас обидно, и, отворотясь, он покусывал губы.

Да плевал бы он сто раз на этого Серегу, стал бы из-за него, охлупня, лошадь гонять, ес-

ли б не побаивался. А тот прямо как чувствует, что Колька не посмеет ему отказать. Исподтишка стал он разглядывать Сережку, стараясь угадать, сколько ему лет. И решил, что годов двадцать восемь, пожалуй, есть. А уже вторая отсидка.

Вдруг глаза Сережки сверкнули, и он заговорил стихами, выразительно, будто каждое слово выжимал чуть ли не с собственной кровью:

Дыханье их его касалось.
Совсем был рядом их маршрут.
Они гудели, и казалось —
они с собой его берут.
Но сколько он ни тратил силы —
колес не мог поднять своих.
Его земля за них схватила,
и лебеда вцепилась в них.
А были дни, когда сквозь чащи,
сквозь ветер, песни и огни
и он лстел навстречу счастью,
шатая голосом плетни.
Теперь не ринуться куда-то.
Теперь он с места не сойдет.
И неподвижность — как расплата
за молодой его полет.

Ястреб взбежал на Осиновую гору, и открылась, легла внизу просторная луговая даль с лесами синими за рекой. И там же, за рекой, в трех километрах завиднелись на буграх серенькие домишки Ивняков, в пышных, нахлобученных на крыши шапках снега.

Привстав на колени, смотрел туда Сережка, не замечая теперь ни езды, ни Кольки, ни того, что из-под копыт Ястреба летит в грудь плотное снежное крошево.

— Коля, ты живешь, как птица в небе, — заговорил он, продолжая смотреть туда безотрывно, точно пришитый, — и не знаешь, что такое воля. Не знаешь ты, как простой «паровоз-

ный» гудок может из человеческого сердца вить веревку... Вот где она, сила-то жизни! Ух! И силы тебе этой никогда, может, не понять... — Он вздохнул протяжно и как-то жалостливо и надолго замолчал. И от его слов было не по себе. Потом он встрепенулся: — Праздник сегодня сделаю.

Со всем, чем раньше жил, порву я.
Забуду разную беду.
На землю теплую, парную,
раскинув руки, упаду...

— Водка есть у нас в Ивняках?

«Ну, зар-раза! — думал Колька. — Как он там научился... Шпарит, будто лектор какой».

— Водка, спрашиваю, есть в Ивняках?

Колька очнулся.

— Нету! — потряс он головой.

— Как? — воскликнул Сережка. — А где есть?

— В Родниках.

— Тогда, уважаемый, вот что: дотрясешь меня до родительского крылечка, сдашь матушке на руки, а сам — умри, но водка чтоб была. Максимальный минимум — шесть ампул. Дорогой зять.

У Кольки по коже мороз пошел: если Сережка с отсидки едет, какие у него деньги... Откуда? Что же, выходит, на свои брать? Так и своих-то ни гроша. Пустота в кармане. А потом, как быть ему с сеном? Не приедешь — от отца нагорит. Сереге не угодить — боязно. Что у него на уме, кто ведает.

И пока они ехали до Грушкиного дома, мысль эта мучила Кольку, спасения не давала, дышалось тяжело, сердце немело, катилось куда-то, как мерзлый конский шовяк, который па-

цаны пинками гоняют по свежему льду. В несколько затяжек Колька высосал сигарету «Космос», которой его угостил Сережка, и она показалась ему после «Памира» слабой, как прошлогодний березовый лист, что тайком курил, бывало, в детстве.

Все шесть километров пробежав рысью, Ястреб, остановленный возле Грушкиных ворот, вскидывал мокрые бога высоко, не привык он к такой работе.

Сережка неторопливо встал, потоптался возле дровней, с треском разорвал молнию вниз, стряхнул с куртки снег. Колька подумал, что куртка, наверное, ворованная, не дают же такие на отсидке. Тот равнодушно сказал, затягивая молнию:

— За шестьдесят рублей купил. С рук. Понравилась.

Куртка, и верно, была сделана хорошо, как игрушка. Сережка достал из нее новенький бумажник, открыл его и подал Кольке три десятки.

— Умри, а чтоб была! Ну, че уставился? Командуй парадом, медведь. Плюшевый. И не улыбайся угодливо, как лакей. Я этого, зять, не люблю.

Колька взял тридцать рублей, нерешительно перебирая их. Сережка запел:

Не разглядывать в лупу
эту мелочь и ту,
как по летнему лугу,
я по жизни иду...

И добавил:

— Дуй, Коля! Одним заворотом и-и — здесь!

Колька спрятал деньги в карман и поехал.

— Слушай, — сказал Сережка строго, — ес-

ли ты будешь так кандыбать, у тебя дровни к дороге примерзнут. Раскормил свой бронепоезд, на ходу дремлет. Подними пар в котлах. Учти, долго проездишь, испортишь праздник — кастрирую. Тогда вместе с мерином будете на ходу спать, — захохотал Сережка.

Шутит он или серьезно говорит, Колька не знал, что и подумать. И на всякий случай подстегнул Ястреба на рысь. Вслед ему донеслись Грушины завывания:

«О-ой, родимец ты мой! Думала уж — не дождаться живого... Пришел, слава богу...»

Сильно Колька удивился Грушиным словам. Не раз, бывало, всей семьей, спасаясь от разбуянившегося Сереги, они зимой босиком бегали к соседям среди ночи. Два года, пока сидел, наверное, отдыхали. А пришел — радость. И Кольке в эту радость не верилось.

За околицей он пустил Ястреба спокойным и привычным шагом, жаль было конягу.

Ох не хотелось в Родники ехать. В другой бы раз ничего, может, и с удовольствием, а сегодня— ну, никак не вовремя. Ладно, на ферме сена хватает, так отец-то ведь будет ждать, чтоб за своим ехать. Договорились. И Серега-то прищучил — не вывернуться. Когда давал он деньги и снова сказал стишками, у Кольки появилось ощущение, что такой Сережка может с ним сделать все, что захочет, особенно за Зинку.

Стараясь оттянуть новую встречу с Серегой, он, сделав покупку, заехал к бывшему соседу по Ивнякам — Максиму Рогожникову, у которого сын из армии пришел. Об этом сказала почтальонка. Колька встретил ее по дороге в Родники, откуда она возила на своей кляче почту. Колька с Генкой Рогожниковым были годки, вместе росли и бегали, и сейчас Кольке захотелось по-

видаться с ним. Посмотреть на Генку в солдатской форме, которую и сам он тоже мог бы сейчас носить. Но два года назад, когда исполнилось Кольке восемнадцать, его признали непригодным для армейской службы. Подвела нога.

Одиннадцать лет было Кольке, когда на пилораме, где он играл с ребятами, раскатился бунт леса и бревнами сломало Кольке ногу в двух местах. Кость срослась неправильно, с той поры и стал он немного прихрамывать.

У Рогожниковых гуляли — изба тряслась. Встретили запросто, подали стаканчик, второй, и захмелел Коля, и обо всем на свете забыл, не отрывая от Генки-солдата тоскливо-завистливого взгляда. Ему страсть как захотелось надеть на минутку Генкину форму, но попросить он не смел. И лишь после третьего стаканчика не утерпел, качнулся к уху товарища и, стыдясь и краснея, прошептал:

— Ген, дай пеньжак с погонами померять.

Тот рассмеялся добродушно и, сняв мундир, своими руками накинул его на плечи Кольке, у которого от радости заблестели глаза недобрым светом. Он встал перед зеркалом, надел куртку в рукава и поворачивался, оглядывая себя и пьяно причмокивая: шито было, как на него. И попросил еще шапку. Он и руку свою корявую к виску подносил, выставляя вперед локоть, отдавал честь и весь вытягивался, выкатывая грудь гнутым полозом.

За столом до слез хохотали гости, и Колька снова подсел к ним, и теперь ему ехать отсюда совсем не хотелось. Он сидел в шапке, в мундире, снимать их никто не торопил, оглядывал себя, как птица, которая чистит перышки.

Посидев так, Колька метнулся из избы, выбежал во двор, где стоял Ястреб, покопался на

дровнях в сене. И когда через минуту появился, стукнул по столу донышком бутылки:

— От меня, Гена!

Играла гармошка, плясали бабы, курили, разговаривая, мужики, и с ними курил Колька, и было у него на душе так хорошо, как еще ни разу не бывало.

Но стало на улице смеркаться, и как ни был пьян Колька, а сообразил, что день прошел, что отец не дождался его, а вот Сережка, наверное, крепко ждет.

— Ну, Гена, поехал я, а то меня подкастрируют!

И всем Колькина шутка понравилась, и никто не стал его задерживать, понимая, что погостил человек и надо ехать, раз лошадь стоит во дворе в упряжи.

Шибко не хотелось Кольке снимать с себя мундир. Взявшись руками за борта, он посмотрел тоскливо на Геннадия, вздохнул тяжелехонько и все-таки начал стягивать. Но плечи цеплялись, руки путались в рукавах... Видя все это и понимая, Гена легонько похлопал его по плечу и сказал:

— Бери, Коля. Дарю, носи!

Колька полез целоваться и пьяно прослезился.

А Тася, Генкина мать, сказала:

— Вот те раз. Ты че, Геннадий, — «дарю, носи», ведь на работу можно одеть омундированье-то. Матерьял — на крючьях не порвать...

— Мама! — перебил ее Гена с упреком в голосе.

И Тася отошла. Такая щедрость сына не пришлась ей по сердцу.

Перед самыми Ивняками Колька начал постепенно приходить в себя и соображать, что выс-

тавил на стол у Рогожниковых Сережкину водку. Он сунул руку в сено и стал по порядку нащупывать бутылки, все пять были на месте. Не хватало только шестой.

Домой Ястреб бежал ходко, с каждым шагом приближая Кольку к ответу. Были бы деньги, так отдал, и все, капут. Сказал бы, что купил последние. Но свои заработанные деньги Колька, получая, отдает исправно матери, так заведено у них.

Ярко светились окна Грушкиного дома. Подкатив к воротам, Колька громко, чтоб слышно было в избе, пpукнул на коня. Ястреб остановился и недовольно стал кланяться головой в сторону конного двора. Звякая удилами и фыркая, он просился в стойло, в тепло, к кормушке.

Как можно пьянее и куражистее Колька стал ругать коня на всю улицу, будто едва удерживал. Он не торопился слезать с дровней, выгадывая время и надеясь, что Сережка сам выйдет и начнет расспрашивать его, а уж легче отвечать, чем самому войти в избу и докладывать. Да и врать в сумерках, когда лица не видно, проще.

Сережка, действительно, услышав голос под окном, выбежал навстречу. Тут Колька широко распахнул фуфайку, прикинулся пьяным до невозможности.

— Ты, приятель, где это такой кайф поймал?

— Да-а... — мотаясь из стороны в сторону, выдавил Колька через губу...

— Привез?

— Ухга! Тут, — выставил Колька руку вперед, цепнулся и, уже не шутя, свалился на бок.

Сережка поглядел на него и с любопытством начал шарить в охапке сена.

— Я тебе говорил сколько купить?

— Ше-есть.

— А где шестая?

— Тут были все. Куда деваться-то.

Сережка неторопливо еще раз прощупал дрова, но ничего не нашел. Он выбежал в одной тельняшке и теперь зябко ежился, проявляя нетерпение. Заметив на Кольке блестящие пуговицы, приблизился к нему, отогнул полу фуфайки.

— Чей мундир? — спросил.

— Генки Рогожникова. Из армии пришел. Подарил. На память.

— Все ясно, кореш, с тобой. Налакался котенок молока... Потерял? На первый раз прощаю... В честь мундира.

— У меня сдача есть, — полез Колька в карман, звеня мелочью и радуясь, что, кажется, пронесло. — Три рубля с лишним.

— Оставь на пряники, — ответил Сережка и, не сказав больше ни слова, зарысил в избу.

Колька помялся, помялся, не зная, что делать, его никто не приглашал, и повел Ястреба на конный двор. А хотелось зайти в избу и увидеть дочь, но, пожалуй бы, не при Сережке.

Дома Кольку могла ожидать взбучка. Он побаивался отца, коренастого мужика, ходившего по земле с раскачкой, тяжело, будто он каменья на горбу носил. И кулаки у него тоже были тяжелые, если уж отвешивал, случалось, тумака, то помнилось долго. Поэтому в избу Колька вошел тихохонько, как вор, не стукнув дверью, не скрипнув половицей. Но мать все-таки услышала как-то, вышла из-за печи.

Сын стоял смирнехонький, виноватый. И Нюра поняла — опять выпил. Взглянув на его раскрасневшееся лицо, она вздохнула со стоном и покачала головой. Хотя ничего не сказала, Колька понял, что подумала мать о нем нелас-

ково. У него вырвался ответный, но сиротливый вздох, после которого он спросил негромко:

— Дома отец?

— Нету. Жрет где-то. Пить-то ведь оне — никогда наглотаться-та не могут! — ответила мать в сердцах.

— По сено-то ездил?

— Ездил. Привез волочушку, маленько выше головы. Снег рыхлый, да толсто навалило. Грудит. Лопату не взял с собой... До самых до подпазух вымок, ногами все отгребал, — уже спокойно и с сочувствием в голосе рассказывала мать.

— А теперь где?

— Сказано ведь, — снова вскипела она, — жрет где-нибудь с мужиками. Пятерку выкомурил.

— Меня ругал?

— Не знаю — молчит — приехал.

— Ладно, спать буду.

— Поел бы.

— Сыт.

Колька разулся, разделся и сразу лег в постель. Раз отец не ругался — примета плохая: злой до невозможности.

Младших братьев и сестренки дома не было: двое живут неделями в школьном интернате, один в училище на тракториста учится, в другом районе.

Засыпая, Колька думал о них, а приснилась ему старшая тридцатитрехлетняя сестра Лида. Приснилась в белом халате; на шее у нее трубка для прослушивания больных. Едва начала она разговаривать с братом, и тут он проснулся. Слышно было, как мать позвякивала ведрами, ковшом. Наверное, убирала скотину. В окне брезжило утро. Проспал, не разбудила мать,

значит — сердится. Может, ругачка вечером была из-за него, когда отец пришел, а он уже спал? Теперь отец отправился, наверное, на работу, рано уходит, тоже корма подвозит, на телятнике, от фермы — за оврагом.

Не хотелось вставать. Виски точила такая пронзительная боль, будто в голове еж ворочался. Колька лежал не шевелясь и старался вспомнить, что говорила Лида во сне. Но вспомнить ничего не смог. Хотя сказала она что-то важное, касаемое его, Кольки.

Последний раз Лида гостила дома три года назад. Она была Колькиному отцу падчерицей, родилась от первого мужа матери, жила в Челябинске, работала там врачом и наезжала в Ивняки очень редко. Отец недолюбливал ее из-за того, что та начинала учить его жить. Так и говорила:

— Лидька, приехала, дак не учи меня жить! — и ворчал: учителей-де много, а из телятника возить навоз некому, заросли им все стены.

Уже два года отец не пьет, как раньше. Завел ульи и ушел в пчелиное дело с головой. Зимой еще нет-нет да и выпросит у матери пятерку, как вчера, и приложится к горлышку, а летом ни-ни. Но мать по старой привычке все равно и за малое ругается. Выпивает он теперь за один присест меньше Кольки, который очень гордится этим. От меда пока доходов не видали за два года, а вот пчелки кушают денежки, как пыльцу подбирают: то соты надо, то дымарь, то ройники... Прошлым летом Пашка-тракторист рой прилетный привил в ивняке у своей усадьбы, сгреб его и продал отцу за тридцатку на развод. А как раз в тот день у отца тоже рой ушел. Прозевал он его. Мать долго

ругалась, что, может, свой же рой купил у того прохвоста. После, в улье, рой сгинул, не прижился. Теперь отец удумал омшаник строить. И опять мать ругается, что на пчел отец работает. Но и то сказать — сами без меда не сиживали.

По дороге от конного двора к ферме Колька завернул в проулок и остановился возле избенки глухой Окулины, которой недавно возил из леса дрова.

Ястреба привязывать не стал; на всякий случай, чтоб не чувствовал волю и не убрел куда, приворотил ему морду вожжой, которую накинул петелькой на конец оглобли.

Разламывалась после вчерашнего голова, не тряхнуть. Мозги, как любит говаривать в таких случаях Егорка-кузнец, будто вареная вермишель. Колька знал, что не работник, пока голову не поправит, а дел сегодня много, и решил он у Окулины опохмелиться. Если есть, она не посмеет отказать, сообразить должна, что еще не раз придется ей к Кольке с каким-нибудь делом доткнуться. А запас у одиноких старух не выводится, это давно проверено Колькой.

Окулина собиралась затапливать печь, просовывала в чело поленья по одному на ухвате и складывала их на поду клеткой.

— Окулина, че поздно управляешься? — гаркнул Колька на ухо старухе.

— Дак што, Коля-батюшко, — ответила она, остановясь, — всю жись — до свету да до свету, хоть на старосте-то бы пожить спокойно, без беготни.

— Так оно, — согласился равнодушно Коль-

ка и, решив подступать ближе к делу, крикнул еще громче: — Дрова-то хорошо горят?

Окулина сразу смекнула, куда он ведет, и подумала с обидой обо всех коновозчиках и трактористах, что сделают работы на два часа, а напьются на два дня, да еще два месяца опохмеляться будут заезжать. И она прикинулась, что не расслышала.

— Ась? Не чую ниче. Совсем оглохла, батюшко. Вот лежу, быват, ночью, и мерещится мне, что поют на улице девки...

— Я спрашиваю, — заорал Колька, наливаясь от натуги кровью, и в висках у него заломило еще сильнее, — дрова, дрова хорошо горят, которы из лесу-то привез?

— Да горят, батюшко, горят, — махнула старуха досадно рукой.

— Окулина, у тебя голову поправить нечем?

— Ась?

— Голову, говорю, поправить нечем?

— Х-хе, батюшко... — закряхтела в замешательстве Окулина.

Не хотелось ей поить Кольку за так, но доведись опять идти к нему на поклон — не поможет, припомнит, сатана. И другим еще расскажет, чтоб не помогали. Куда нынче вот без выпивки-то, если своих сил не стало. «Да разве было эток-то раньше? — думала с обидой Окулина. — Это мы, дураки, за трудодни — за пустое место — чертомелили. А нынче люди ушлые стали: высморкаются и то пятак просят. Всю совесть пропили, окаянные. Отец, помнится, недаром говаривал: пьяница-де не штаны пропивает с рубахой, а совесть да стыд. Так оно и есть».

Кряхтя, она долго копалась в залавке, понимая, что деваться ей некуда, и наконец достала пол-литровую банку светлой отстоявшейся бра-

ги, с осевшей на дне гущей. Принесла стакан, вытирая его подолом фартука, и сырое яйцо. Откинула на столе полотенце, которым были накрыты хлеб и соль.

— Коленька, ты бы соломки не привез бы волочушечку махонькую? Дух духашшего нече бросить корове на подстилку. На голой земле спит, — заговорила Окулина жалобно, надеясь за брагу выторговать для начала хотя бы обещание.

— Ладно, Окулина, привезу, — согласился Колька.

— Когда? — встрепенулась старуха.

— Да хоть завтра.

Услышав это легкое слово, Окулина только вздохнула и поджала тонкие синие губы: немало наслышалась она таких «завтра» (тот же Колька не раз говаривал) и давно перестала верить им.

Приехав на обед, Колька застал дома отца. Степан уже поел и теперь, развалясь на скамеечке возле печи, курил. Входя в избу, Колька шарахнулся плечом о косяк. Отец это заметил, и по тому, как он посмотрел, Колька смекнул, что сердится. Матери дома не было. Колька снял фуфайку, шапку и, стараясь не шататься, прошел на кухню. Открыл печь, достал чугунок с супом.

— Руки мой, образина! — сказал отец.

Колька прикрыл чело заслонкой и послушно отправился к умывальнику. Степан глядел в спину сына, видел вялые, неуверенные движения, и это стало его злить. То и знает, лоботрясина, что пьянствовать да по девкам бегать... А он вчера за сеном один ездил, как бездетный старик.

Колька чувствовал вину свою и мыл руки

долго и старательно. Опохмелившись утром у Окулины, он поправил голову и работал, как волк в овчарне. Ни разу не перекурил он за все утро, пот градом хлестал с его лица. Навозил сена даже с запасом и еще, отвязав и спрятав веревки, успел сгонять на мельницу за мукой для коров. Заведующий даже похвалил его.

Работая, все время чувствовал, как позвякивают в кармане штанов монетки, вчерашняя сдача от Сережкиной тридцатки. Монетки не давали покоя, раздражали. В голове крутилось: «Как купленный я теперь». Колька достал деньги — были три рублевые бумажки и сорок восемь копеек. Решил перехватить у кого-нибудь из доярок деньжат за выставленную вчера у Рогожниковых бутылку и отвезти долг Сережке.

Сгрузив в кормокухню мешки с мукой, он так и сделал. Сережка встретил как ни в чем не бывало, деньги не принял, а вот пару стаканчиков поднес. И надо было отказаться Кольке от той водки, не посмел, выпил. А во рту сегодня ничего, кроме сырого Окулининого яйца, не было, крепко закосел. Держался, стараясь показать Сережке, что он его вовсе не боится. На что тот лишь посмеивался снисходительно, он был иного мнения о «зяте».

Грушки дома, к счастью, не было, она ушла в магазин занимать очередь за хлебом. Осмелев после выпитого, Колька пошел в другую комнату посмотреть на свою дочь. Он не ожидал, что, встретясь взглядом с Зинаидой, придет в такое сильное смущение. Не было в ее глазах, кажется, ни осуждения, ни упрека, но появилась какая-то уверенность и прямота, которая и повергла Кольку в робость. Он не посмел заговорить, постоял сгорбленно и виновато возле косяка, посмотрел на дочку. Зинаида держала ребенка

столбиком, повернув лицом к Кольке. Девочка забавно подбирала губы и пялила черные бусинки глаз куда-то мимо Кольки, словно не желая замечать его. Он засмотрелся, она была похожа почему-то на Колькину мать. Сердце екнуло, будто кто-то пальцем ковырнул, и Колька подумал о себе гордо: «Отец! Моя!»

— Алименты будешь платить, — сказал Сережка, когда он вышел.

— Алименты? — ошалел Колька.

— А как же. Думаешь, ты будешь делать моим сестрам деток, а я их стану кормить?

Колька поскреб в затылке и махнул рукой:

— Буду платить, она мне глянется.

— А Зинка? Нравится?

Колька посмотрел и буркнул:

— Нравится.

— Ну и женись! Баба что надо.

Колька промолчал.

Наблюдая, как сын чавкает за столом, Степан чувствовал, что злости в нем на Кольку копится все больше и больше. Работать сын пошел, вот, думал, подмога будет в хозяйстве, а он, стервец...

И тут Степан не выдержал:

— Ты когда пить-то перестанешь? Че молчишь, как бык на бойне, — глаза его сверкнули недобрым огнем. — Отец изводится, один сено возит, в снегу пурхается, а он за водкой... обритым... Гонят в Родники!

«Уже донеслось», — подумал Колька и поморщился.

— Небось сметанку да молочко жрать — первый парень на деревне! — ругался Степан, остервенело тыча окурком в глиняную плошку и

от души плюнув туда же, так что пепел вспорхнул кверху.

— Я че, не роблю? — огрызнулся Колька.

— Ммолчи! — вскочил Степан. — Молчи лучше! Дармоед!

Колька поперхнулся и никак не мог проглотить нажеванную пищу, давясь ею. Ну уж, это он-то дармоед? Ишачит, ишачит, ферму коров кормит. На сто двадцать глоток сена подвозит каждый день. Заработанные деньги все матери приносит. А что выпивает, так на шабашках. Давно ли сам-то отец шабашить перестал. Пока пчел не было — каждый день приходил дугой. Они ему, Кольке, даже пальто хорошее справить не могут. Срам надеть. И он же дармоед после этого? А кто на своей делянке все сено выкосил? Кто стаскал его к стожарам, если уж на то пошло? Он. Колька. Ну, метали, правда что, с отцом. Чужое он не присвоит. А выкосил-то, выкосил — все один. Мать хворая. И это он дармоед?

Колька распалялся все больше, обида, как горячий вар по телу, разливалась в душе, обжигая ее и черня. Он побелел в лице и выскочил из-за стола. Степан от неожиданности выпучил глаза и растерялся, думая, что этот теленок взбесился и бросился на него. Но Колька пробежал мимо и выскочил в сени, хлопнув дверью так, что с чердака в щели между потолочинами затрусилась беспокойно сухая земля. Слышно было, как он, вскочив на дровни, стал нахлестывать Ястреба и как тот с тяжелым храпом взял с места в галоп.

Степан сразу остыл и сел, его трясло. Злоба откатилась, уступая место раскаянью и беспокойству: на улице морозец, ветерок, куда сын полетел без одежи.

Жалость к себе от бестолковой жизни и обида за напраслину до того стиснули крепкое сердце Кольки, что он бил и бил беспощадно коня, накручивая вожжи над головой. Из глаз ручьем хлестали слезы, Колька кусал обветренные соленые губы и гнал в верхний конец длинной, как пожарная кишка, деревни. Ополоумевший Ястреб нес хозяина во весь опор.

В этот миг Колька почувствовал себя до того неуютно и одиноко на всем белом свете, что решил — он никому не нужен. Его вдруг осенила мысль: «Повешусь! Все равно — жизнь собачья!»

Мысль была простая и ясная. Сотворить такое дело он решил возле стогов своего сена. Ему казалось теперь, что это будет самой памятной и самой страшной местью отцу, за несправедливость.

Последние дома улицы мелькали с правой руки, когда, случайно глянув под ноги, Колька не увидел на дровнях веревку и вспомнил, что выбросил ее, когда ездил за мукой.

Но изменить твердое решение сейчас уже ничего не могло, и Колька с ходу подворотил коня к воротам крайней избы, в которой жила одинокая шестидесятисемилетняя старуха Макаровна. Колька почитал ее. Не то чтобы она за помощь платила или поила больше других, нет, но рассчитывалась всегда с душой и с уважением к Кольке как к работнику, и он помогал ей охотно. Всего две недели назад вывез пять возов сена с ее покоса.

Ястреб встал у ограды как вкопанный. Дышал он запаленно, будто его насосом в один качок надували, а в другой выпускали воздух обратно.

Расхабарыснув ворота, Колька ворвался в

ограду и опешил: прямо перед носом на перекладине висела туша освежеванного мяса. Рядом на плахе лежали телячья голова и свернутая шкура. Мясо еще не успело остыть и, отдавая последнее живое тепло, курилось легоньким парком.

Вид забитого теленка остановил Кольку лишь на секунду, после чего он взбежал на крыльцо и бросился в сени.

Войдя в избу, не поздоровался и не обратил внимания на сидящих за столом колалей Федьку-немака и Петруху Ивановича.

— Тетка Макаровна, дай скорее веревку! — потребовал он.

— На что тебе? — спросила она, оглядывая его.

— Поеду в лесу повешусь! — выдохнул Колька.

Макаровна поняла, что не шутит парень, глаза его блестели, как у безумного.

— Да, ты че надумал, лихая твоя головушка?! Куда ты погнал это в одной-то свитре?

Петруха Иванович, натыкая вилкой глазунью и лишь мимоходом бросив взгляд на Кольку, засмеялся:

— Не один ли черт, в чем вешаться, в шубе аль в свитре? Болтаться-то на сучке все одно.

Федька-немко кивал Петрухе головой, вопросительно мычал.

— Вешаться, вешаться погнал, — стал громко объяснять глухонемому Петруха. — Туда, туда! — махнул он в сторону леса. — Вешаться! — и изобразил вокруг шеи веревку, показывая, как она тянется вверх, потом закатил глаза, язык высунул, повалил голову на плечо.

Но Федька и без этого уже понял все.

— Ы-ы-ы! — покрутил он головой, что нельзя-де такое делать.

— Пускай, — отмахнулся Петруха. — Плевать на него, раз жить не хочет, — и посверлил пальцем возле виска.

— Ы-ы! — Федька не соглашался, встал. — Ы-ы! — замаячил он Кольке, подзывая к столу. Тот подошел. — Ы-ы! — похлопал Федька ладонью по лавке, садись-де.

Колька сел, облизнув сухие губы. Немко налил из бутылки полстакана водки, сморщил нос, стал понарошку плеваться, мотал головой, делал руки в крест. Колька понял, что Федька отговаривает его ехать вешаться. Потом он похлопал Кольку по плечу, улыбнулся и вздернул торчком большой палец правой руки: хороший, мол, парень. Резко обвел вокруг шеи, тоже изображая веревку, и сделал губами: пфу-пфу! После этого подал стакан Кольке, еще раз похлопав его по плечу.

— Дак ты, Коля, поругался с кем ли, че ли?— спросила Макаровна.

Он выпил, утерся рукавом, взял вилку, намереваясь закусить холодцом, залитым мореным хреном, но увидел на столе соленые грибы, сунул в рот волнушку и, жуя, ответил:

— С отцом.

— Слушай, парень, — вмешался Петруха Иванович, — ты чего веревку просишь? Не мог удавиться на чересседельнике или вожжах?

Колька растерялся. Действительно. Не додумался до такой простоты. И тут оказался в дураках. Он застыдился и обмяк. Сейчас ему захотелось просто лечь, хоть тут же на пол, и сразу умереть. Больше ни на что не было сил. Зачем открылся перед ними? Теперь все это выглядело глупо, и он сделал из себя посмешище.

— Из-за чего поругались? — стала допытываться Макаровна.

— Да по сено договорились вчера ехать, — признался нехотя Колька, — а я это... маленько пропьянствовал. Он один ездил, а дороги-то нет... Седни я на обед приехал, опять маленько выпимши, он меня — дармоед да дармоед...

— Хе-е! Из-за этого и вешаться?! — воскликнула укоризненно Макаровна. — Как вы ныне жизнью-то легко командуете...

— Он-то черт те бей, — вмешался опять Петруха Иванович, — дак ведь мерина-то колхозного волки сожрут. И так на все Ивняки осталось четыре рабочих лошади. А помню — близко к полсотне было...

— Петро, да будет тебе изголяться над парнем! — одернула его Макаровна. — Не плетико ты несвойску-то. Ешь вот лучше!

— Ну, тетка Макаровна, ты уж и скажешь! — куражисто рассмеялся Петруха, но видно было, что обиделся.

Немко с нетерпением поглядывал поочередно на каждого говорящего, стараясь понять по губам, о чем они толкуют.

— У вас где сено-то? — спросила Макаровна.

— Возле старой выселки.

Она подумала-подумала и сказала:

— Коля, а ты бы повинился бы перед отцом-то, поезжай-ка давай по сено. След вчерашний затвердел, снег седни не станет грудить. Возок сена привезешь, отец-то увидит, глядишь — и простит тебе за вчерашнее. Давай, батюшко, поезжай, — уговаривала его Макаровна ласково. — Я тебе куфайку дам, шапку с рукавицами. Все найдем: бастриг, вилы, веревки...

Петруха потолкал тут старуху легонько в бок:

— Слышь, а ты сама с ним езжай, на возу постоишь. Не ровен час, и верно — того... быват...

— Я бы поехала, да вас одних ведь не оставишь.

— Чего это? — удивился Петруха. — Мы тебя не обворуем, тихо-смирно посидим, понемтуем с немтырем. Правда, Федька? — подмигнул он.

Федька не знал, о чем они говорили, но на всякий случай заулыбался и кивнул.

— Пожалуй что, — согласилась Макаровна и стала собираться.

Колька не сказал ни да, ни нет. Но разговор Макаровны подействовал на него успокаивающе, отлегло от сердца. Закусывая, он незаметно увлекся едой и сейчас уплетал остывший суп из миски, которая стояла посреди стола, одна на всех.

Вчерашний след, и верно, затвердел, снег не грудило.

Колька разбирал стог и подавал сено, Макаровна стояла на возу, руководила, куда положить, подправляла.

— Да поменьше ты бери, окаянный, надорвешься! — ворчала она добродушно. — Полстога своротил! Меня с возу пластом чуть не сшиб.

Колька понимал, что она его нарочно хвалит, но ему это нравилось, и от задора он брал на вилы больше того. Даже пот проступил на лице, так усердно работал. Быстро скидал весь стожок, небольшой он был.

Воз получился широкий, ровный и устойчивый. Стягивая его березовым бастригом и веревкой, Колька похвалил Макаровну за укладку.

— Ой, Коленька, — сказала она в ответ,— переворочала я за свою жизнь сена, грех не научиться...

Двинулись в обратный путь, сидя на возу.

— Работаешь ты хорошо, — заговорила Макаровна, приглядываясь к Кольке сбоку. — Да ведь одной работой, батюшко, уважения не заслужишь. Человеком-то надо быть и после работы, тогда и уважение придет.

Колька терпеливо слушал, этого ему еще никто не говорил.

— Ты вот уважения-то требуешь и ждешь,— продолжала Макаровна, — а сам других не уважаешь. Обижайся не обижайся, а в глаза тебе скажу: Зинке вон ребенка сделал и бросил ее. Пошто бы не жениться? Нет, милок, ты вот уважь отца, и он тебя уважит. Надо по-людски все делать. А то выкинешь номер, а там — хоть трава не расти. Вот и смотрят на тебя как на дурачка: чего еще выкинешь.

Она умолкла, давая Кольке время переварить сказанное. Но терпения молчать у нее хватило ненадолго, она разволновалась, почему он так мало беспокоится о своей жизни, о завтрашнем дне в ней.

— Да и пьешь ты, парень! — Слово «пьешь» она проговорила резко, тряхнув головой, будто сплюнула. — И нету тебе за это оправданья. Сколь она, водочка-то, мужиков могутных увела на тот свет. Беда. Не помню такого прежде и от стариков не слыхала. Вот и все, что скажу. А ты послушай старого человека. Послушай, да за ум принимайся.

Кольке было нечего возразить, кругом виноватый, он угрюмо молчал...

— Вот скорехонько и обернулись, — ворковала довольная Макаровна, слезая с воза у своего дома. — Баба с возу — кобыле легче! — пошутила она. — Ну, поезжай, Коля, с богом. Одежу, веревки да бастриг как-нибудь после привезешь, — махнула рукой и принялась подбирать сброшенные вилы.

«Приеду с сеном, ох вылупится отец. Да еще угнал в одной свитре, — подумал Колька, понужая Ястреба. — Дармоед? Я ему покажу-докажу...»

И тут Макаровна обмерла, увидев, как летят с воза на снег шапка, фуфайка и варежки.

— Коля, Коля, — закричала тревожно старуха, хватая одежду и пытаясь бежать вдогонку.— Думаешь ли, родимый, че делаешь! В могилу захотел?! Погляди — пар от тебя валит. Нагрелся, сено-то клал. Постой! Враз прихватит.

— Я, тетка Макаровна, закаленный! Со всем, чем раньше жил, порву я! — закричал весело Колька, подняв над головой кулак, разгоняя коня под уклончик. — Забуду разную беду! Вот она, сила жизни!..

Дальше Макаровна не разобрала, что он кричал еще.

— Эх-эх-эх, удалец! — сказала она, останавливаясь и укоризненно покачивая головой. — И что за человек такой.

Хирел коротенький зимний денек. Было уже все серым: и небо низкое, и пустая заснеженная улица. И, удаляясь, Колька постепенно сливался с сумерками, словно истаивая в них.

В НАЧАЛЕ МАЯ

Эту зиму он проработал в гараже. Не мог без дела. Но с приходом весны его потянуло вновь ближе к лесу. Заядлому в прошлом охотнику невыносимо стало в пробензиненном помещении. Кто-то из шоферов, заметив маету деда, посоветовал ему пойти на лето сторожем в пионерлагерь. А там — рядом речка, под боком деревушка и кругом — лес грибной.

И вот сухощавый старичок Матушкин, пришаркивая ногами, вышагивает неторопливо по серой ленте бетонки уже из пионерлагеря. Смотрел место, теперь шел в поселок, там можно будет сесть на электричку.

Семидесятишестилетнему старику нравится в просохшем майском лесу. Со всех сторон плывет мелодичный перезвон птиц. На высокой елке кукушка отсчитывает для лесных обитателей время, словно торопя их вить гнезда и высиживать птенцов. Хитрая тварь...

Матушкину почему-то подумалось, что его жизнь, собственно говоря, заканчивается. И хорошая она была и долгая. А все равно при мысли, что недалек теперь уж час расставания с нею, бередила душу тоска. Еще хотелось пожить.

Не заметил, как свернул с бетонки, поднялся полянкой на взгорок и присел на широком сером пне. Давненько не сиживал вот так, один, слушая лесные голоса, под которые хорошо думалось и легко вспоминалось.

В пионерлагере он неожиданно встретился с Захаровым. Оказывается, деревушка возле лагеря была его родиной, и девять лет назад, выйдя на пенсию, Захаров перебрался сюда доживать свой век. Зимой в лагере была база отдыха, и

Захаров устроился сюда на четыре месяца тоже сторожем, чтоб заработать надбавку к пенсии.

Надо же, где свела их судьба через тридцать шесть лет, даже не верится Матушкину.

Осенью сорок шестого года руководство завода, на котором Матушкин работал в то время мастером, направило его кладовщиком на овощные склады заводского подсобного хозяйства. Предыдущий кладовщик проворовался. Время было голодное, строгое, и начальство долго гадало, пока выбор не пал на мастера Матушкина. Прежде он был знаком с бухгалтерским учетом. А за войну зарекомендовал себя человеком справедливым, честным и, главное, непьющим. Все эти качества были немаловажны на предстоящей работе.

Столкав свой нехитрый скарб в кузов полуторки, усадив в нее троих детей, жену и тещу, Матушкин перебрался за тридцать километров в подсобное хозяйство, где уже ждала его в бараке квартира в одну комнату. Здесь он и познакомился с Захаровым, агрономом хозяйства.

Пора была напряженная: шла закладка на зиму скудного урожая овощей. Людей не хватало, лошадей тоже. На незнакомой работе исполнительный Матушкин так замотался, что проклятая язва желудка окончательно извела его. И оставалось только свалиться на больничную койку, когда горячка наконец спала, потому что наступили холода. Землю сразу спаяло морозом, и часть картошки осталась невыкопанной. Потом повалил снег и началась зима.

Хранилище утеплили, запечатали, и на некоторое время работы почти не стало. Жизнь пошла тихая, размеренная.

С продуктами в подсобном хозяйстве было полегче, нежели на заводе, у каждого здесь

нмелся свой небольшой огородный участок. А Матушкины покупали картошку в ближайшей деревне. Там же они брали молоко с осени, и постепенно язва у Анатолия Игнатьевича поутихла, как он шутил — тоже в спячку впала.

Началась зимняя переборка картофеля, в которой участвовали все женщины, способные работать. Теперь в обязанности Матушкина входило раз в неделю отпускать овощи для заводских столовых да контролировать, чтоб рабочие ничего не уносили.

В квартире, в соседней с Матушкиными, жила многодетная вдова Люба Карасева, муж ее во время войны был на брони, как и Матушкин, но, зачахнув от туберкулеза легких, скончался по весне. И чтоб прокормить ораву — девятерых детей-погодков, Люба перебралась сюда. Помог ей партком завода. Желающих в это голодное время работать в подсобном хозяйстве было немало. И сам Ермаков, секретарь парткома, хлопотал за переезд Карасевых.

С наступлением холодов ее дети, экономя силы и скудную одежонку, сидели безвылазно дома, ожидая, как бескрылые птенцы, когда мать принесет им чего-нибудь поесть. Приехав сюда летом, Люба не успела завести огород, своей картошки у нее не было, а зарплаты и пособия на детей не хватало. Да и не находилось охотников зимой продавать картошку.

От нужды и постоянного недоедания женщина сделалась худой, молчаливой, безропотно бралась она за всякую работу. Забитость ее и пугливость, с которыми, уходя на обеденный перерыв, Люба копалась торопливо в отходах, стараясь отыскать в гнили съедобные клубеньки, надрывали сердце Матушкина. Он делал вид, что не торопится на обед, давая Любе возмож-

ность набрать картошки. Но как только она уходила, Матушкин с тяжелым вздохом навешивал на двери замок и тоже брел домой.

Однажды он не выдержал, подошел к Любе, сидящей на корточках над отбросами, взял молча из ее рук ведерко и, не взглянув в ее застывшее от страха лицо, выбрал из сусека два десятка крупных картофелин, вернул ведерко и сказал:

— Прикрой, голубушка. Прикрой.

Она еще долго не могла справиться с растерянностью, потом суетливо завалила клубни сверху гнилой картошкой и ушла, как всегда, тихо, стараясь быть незаметной.

Трогая ладонью свои горящие от волнения щеки, Матушкин вздохнул ей вслед: если поймают с этой картошкой Любу и обвинят в воровстве, не миновать ей суда. Если она испугается и скажет, что дал кладовщик, тогда самому ему будет туго.

«Да, черт возьми! — возмутился в душе, желая хоть как-то оправдать свой поступок. — Сохраним десяток картофелин, а прок какой, если дети умирают...» Выживут, вырастут работниками — с лихвой все возместится само собой. Он старался убедить себя, что это не украдено. Кто еще посочувствует вдове, которая и так из сил выбивается в это голодное время. С агрономом — другое дело, а тут предел нищеты, как не помочь.

Стычка с агрономом Захаровым случилась у Матушкина примерно за месяц до этого. Агроном пришел тогда в хранилище под вечер. Он долго осматривал сусеки, щупал клубни, проверял, не проталкивают ли женщины в отбросы добрую картошку, с тем чтобы после унести ее как гнилую.

Когда люди закончили работу и разошлись по домам, он вытащил из кармаиа мешок. Сказал:

— Надо мне, Толя, картошки с пудик. Наберу? После уиесу, по сумеркам.

— У вас же, Кузьма Даиилович, свой огород был! — удивился Матушкин. Ои зиал, что у Захарова семьи-то всей — мать да жеиа с одиим ребенком. Не могли они к этой поре съесть свои запасы.

— Да понимаешь, в чем дело-о... Еду я на днях в город, м-м... Надо бы, знаешь, подарок завезти шуряку. А он взамеи спиртяшки иам раздобудет. Новый год иа носу. — Видя, что Матушкии в растеряниости почесывает переиосицу, Захаров решил быть пооткровеииее: — Мы друг друга всегда выручали... Ангелом здесь — подохиешь к чертовой матери. А будешь зиать, с кем дружбу водить, ие утоиешь, подкинут доску.

— Хэ! — усмехиулся Матушкии. — Одиако, который до меия-то был — утоиул.

— А-а, — поморщился Захаров, махиув рукой, и добавил: — Пить меиьше иадо было, да, главиое, с умом...

— Н-нет, Кузьма Даиилович, извииите, но придется вам картошечку-то высыпать обратио. И разговор этот забудем, — вежливо и иастойчиво предложил Матушкин, видя, как агроиом проворно набирает из сусека лучшие клубни.

— Ты что — не дашь? — удивился простодушио Захаров.

— Нет, извииите, ие дам, — отрезал иепреклонно кладовщик. — Не могу.

— Ну, я сам возьму. Ты-то попал сюда без году неделя, а я, брат, всю войну здесь проработал.

— Тогда я, извиняюсь, вынужден буду составить акт и предать дело огласке. Мне на лесоповал не хочется топать следом за предшественником. И потом, я в лицо своим детям хочу смотреть честными глазами.

— Ух ты, патриот какой! — выдохнул Захаров с удивлением. — Ну, ну, смотри. Смотри честными глазами, — добавил с непонятным намеком.

Он все-таки высыпал обратно то, что успел набрать.

Однажды, придя в обеденный перерыв, Люба застала в своей квартире Захарова. Он сидел по-хозяйски на табуретке возле печки и пристально смотрел в проталину окна. Печка весело топилась, ее разводила к приходу матери старшая дочь, одиннадцатилетняя Маруся, которая выполняла в семье роль няньки, когда матери не было дома.

— Мама, мамочка, мамка! — загалдели вмиг осмелевшие перед чужим дядькой ребятишки, обступая Любу. — Мамочка, картошечки принесла?

Захаров перехватил взгляд перепугавшейся Любы и все понял. Медленно встал со вскрипнувшей расшатанной табуретки, медленно протянул руку к ведру, которое держала Люба. В азартно сузившихся глазах агронома она заметила вспыхнувшую искорку и невольно попятилась, отводя ведро за спину. Дети, сразу почувствовав неладное, расступились и замерли. Они тревожно заглядывали в бескровное лицо перепуганной насмерть матери.

Захаров выдернул ведро из ее рук и резким движением вывалил из него все на железный лист, приколоченный к полу возле печной дверцы. За плюхнувшейся гнилью раскатились по

половицам крепкие ядреные клубни. Ребятишки, словно обезумевшие, сорвались с мест и стали хватать их.

Люба смотрела на это с ужасом.

— А-а, голубушка, знаешь, сколько за это дают? — спросил Захаров со злорадством.

— Кузьма Данилыч, — пролепетала полумертвая Люба, — не сгубите. Дети голодные... Ради Христа...

— Тридцать три года Кузьма Данилович, — с распевом перебил ее агроном и криво усмехнулся.

— Ну что им — передохнуть всем?! — воскликнула она с мольбой в голосе и со слезами на глазах.

— Пора трудная. У завода на счету, можно сказать, каждая картофелина. Там, понимаешь, рабочие у станков голодные дают стране моторы для самолетов, — говорил он, не переставая поглядывать в окно. — Ждут эту картошку, которую ты... Под суд захотела? А может!.. — воскликнул он осененный. — Может, сам Матушкин дал тебе? А? Ну!

В отчаянье Люба едва не проговорилась, желание выгородить себя во имя детей было у нее почти бессознательным. Но, хлебнув побольше воздуха, будто протрезвела, нашла в себе силы и произнесла:

— Нет.

Однако ответ получился робкий. Захаров не поверил. И тогда, боясь окончательно поддаться первоначальному чувству, подавляя робость, она почти закричала:

— Нет, нет-нет! Я сама! У нас нечего есть! А они просят и просят все время! Взяла немного...

— Тих-ха! Чего ты орешь-то! — переменился

вдруг Захаров в лице, взглянув в очередной раз в окно.

За ним Люба гипнотически глянула на улицу: по тропинке от хранилища шел медленно Матушкин. Порой он оступался с узенькой тропки и вяло взмахивал руками, стараясь не упасть.

Захаров передернулся и разочарованно сел на табурет.

— Взяла немного... — пробормотал он.

Картошки действительно было немного, полтора, может, два килограмма. Расхватав клубни, дети с молчаливым нетерпением выжидали, не зная, что делать. Захаров пригляделся к ним, увидел, как они, чумазые, тощие и оборванные, безотрывно глядели на него и часто сглатывали слюну. Не по себе стало от этих голодных пронзительных глаз. По отрочеству своему он помнил, что значит жить с постоянным чувством голода, иссасывающим пустое нутро. Невыносимое и тошнотворное ощущение. Захаров невольно и сам сглотнул слюну. И сердце его дрогнуло, он сник и проговорил:

— Ладно, на этот раз не донесу. Но смотри, Люба, Матушкину ни словечка, что я был у тебя. И другим тоже. А то ведь, сама знаешь,— туда дорога-то широкая, плохо может получиться...

После этого страшного намека он ушел, а Люба еще долго не могла опомниться. Дрожали ноги, руки тряслись. Наконец пришла в себя. засуетилась, сдернула телогрейку, помешала в печке жар, заглянула, подняв крышку, в чугунок и, увидев, что вода бурлит ключом, принялась отнимать у детей картофелины, наскоро мыть их и бросать в кипящую воду.

Через полчаса дети жадно уминали нечище-

ную картошку с солью и постным маслицем, а Люба гадала, зачем приходил к ней Захаров и почему он строго запретил говорить об этом.

С того дня агроном повадился ходить к ней каждый день. Убирался он после того, как мимо окна проходил Матушкин. Не сразу поняла хозяйка, что ее квартира удобна для наблюдения за тропой от хранилища и что Захаров караулит Матушкина.

Приехав в хозяйство в середине лета, Люба застала еще прежнего кладовщика, о котором позже рассказывали ей, что он держал здесь всех в страхе, а сам брал открыто и чеснок, и лук, и свеклу... Говорили, что и агроном неплохо при нем жил. А с Матушкиным, похоже, Захаров не сошелся.

По-соседски Люба знала, что у Матушкиных тоже нет ни клубенька. И теперь Захаров, верно, охотится за кладовщиком, чтобы поймать того с поличным. Она обрадовалась, что не проговорилась Захарову, и теперь перед появлением на тропке Матушкина переживала, что вдруг он понесет картошку. Предупредить его не смела, боялась угрозы Захарова.

Но кладовщик неизменно проходил с пустыми руками, устало шагая в своем заношенном обвислом пальто. Люба радовалась в душе, а Захаров злился, уходя от нее. Наконец он не выдержал и оставил свое бесплодное дежурство.

Никто не знал, что несколько раз агроном, потеплее одевшись, прятался в кустах возле хранилища и до полуночи караулил там Матушкина, думая, что тот подкупил сторожей. Не мог он поверить, что кладовщик не берет себе ничего. «Не бывает, чтобы у хлеба да без хлеба», — говорил Захаров. Прежний-то вон рассказывал,

что с одной картошки начинал, которую уносил в кармане.

Но пока доказательств не было. И потому агроном терпеливо ждал. Он был уверен, что рано или поздно Матушкин попадется.

Когда начал сходить снег, жить стало полегче. Женщины и ребятишки ходили теперь на поле и выкапывали там перезимовавшую картошку, что осталась осенью неубранной. Не было семьи, которая не едала бы приготовленные из мороженых клубней сладковатые лепешки, отдающие затхлостью.

Почти невидимая зимой, жизнь с каждым днем становилась заметнее. На солнышко вываливали из бараков бледные дети. Были тут и Любины. Откуда-то появились на пригретых завалинках кошки-доходяги, готовые вот-вот родить котят. На деревьях в кустах набухли жирные почки. Заназванивали в небе беспокойные жаворонки.

Матушкин, бывало, подолгу стоял где-нибудь в сторонке от людей и с замиранием смотрел на все вокруг. От радостной мысли, что такую суровую пору все-таки пережили, у него дергалось нутро и вырывался всхлип. Он сильно похудел и осунулся, снова начала беспокоить его язва. Несмотря на тепло, ходил по-прежнему в зимнем пальто, теперь, правда, нараспашку.

Подходило время сеять. И все отсортировывали клубни для посадки и рассыпали их на солнышке для проращивания. Ах, как надеялись на урожай люди. И надежда эта взбадривала их...

Однажды, запирая хранилище, перед тем как уйти на обеденный перерыв, Матушкин увидел, что к нему идет секретарь парткома завода Ермаков. В руке он нес ведро. Сбоку от секретаря ковыляла уныло семидесятилетняя стару-

ха Захарова, мать агроиома. Матушкин все поиял: прихватила тайком картошечки, да влипла.

— Анатолий Игнатьевич! — заговорил Ермаков строго официальным тоном. — Оприходуй, иапиши расписку и документы передай куда надо. Красть пока не позволеио иикому.

Старушка Захарова молчала, комкала в руках жилетку, которой, видимо, прикрывала в ведре унесеиную картошку, и с иадеждой смотрела иа Матушкииа. Губы ее дрожали, в глазах иабухли слезы.

У Матушкина заныло под ложечкой, когда он взял ведро из рук Ермакова: картошки было явно больше двух килограммов. Не миновать старухе суда. Он встряхнул ведерко в руке, стараясь определить вес: пожалуй, все шесть кило наберется. Как ни крути, а уголовное дело заведут. Воровать не разрешено, верно. Секретарь прав. И говорить с ним сейчас, защищая Захарову, бесполезно. Только хуже будет. Он мужик принципиальиый.

Ермаков, должно быть, не захотел присутствовать при тягостной процедуре взвешивания и составления расписки: отдав ведро и отряхнув руки, он быстро зашагал прочь. Должно, приехал проверять, как идет подготовка к севу.

Матушкии поглядел ему вслед, выждал и спросил у Захаровой:

— При людях он тебя уличил?

— Дьявол ведь попутал меня, Анатолий Игнатьевич, — заплакала, не выдержав, Лукия Спиридоновна. — На посадку взяла, для развода, не иа еду. Уж больио сорт хорош...

— Я спрашиваю, при людях ои тебя попутал? — иахмурился Матушкин и пробормотал: — Как что — сразу дьявол...

— При людях. Ушла пораиьше других, поти-

хоньку, чтоб не видели. Как на грех, по дороге наткнулась на него. А тут и бабы подошли.

— Стало быть, при свидетелях, — покачал он с сожалением головой.

Поважив еще раз ведерко на руке, перекинув его с одной в другую и соображая что-то про себя, Матушкин вздохнул, снял замок, вошел в хранилище, темное, мрачное после солнечной улицы. Лукия Спиридоновна побрела за ним обреченно. Он обошел весы, вывалил картошку в сусек и вернул ей пустое ведро.

На другой день к вечеру в хозяйстве прошел слух, что старуху Захарову взяли под стражу. От этого известия Матушкин разволновался. Ведь знал, на что идет, высыпая картошку, а теперь не мог побороть мандраж...

С тех пор воды много утекло. Выросли у Карасевой Любы дети. И у Матушкина сыновья стали солидными людьми. Уж давным-давно нет в живых матери их, жены Матушкина. А Любу, ту еще раньше укатала жизнь. За эти годы многие примерли из тех, кого он знал. Ему самому ничего не делалось: жил, работал по-прежнему и, казалось, перестал стариться. Сам удивлялся иногда, что так много прожил.

Ни разу за все время не видел он только Захарова, как уехал из подсобного хозяйства. И вот сегодня неожиданно встретился с ним. Встретился и не узнал, так изменился Захаров. Старик стариком, да и только. Не скажись он, Матушкин, так и не догадался бы, с кем разговаривает. А бывший агроном признал, оказывается, Матушкина сразу.

— Ты, братец, моложаво еще выглядишь, хошь жени! — изумился он, оглядывая молодцевато подтянутую, сухопарую фигуру Анатолия Игнатьевича, чисто выбритое лицо его и густые

пепельные волосы. — Мне ведь шисят девять всего-то, а с тобой не равняться. Совсем плох стал. Хвораю, братец, ноне, — махнул он рукой как-то безнадежно.

Действительно, бросалась в глаза нездоровая рыхлость Захарова. Зла теперь на него никакого не было. Давным-давно истлело в душе и прахом улеглось. Даже лепешки из мороженого картофеля забылись. Но вот помнится, как агроном, когда мать его взяли под стражу, прибежал к Матушкину в квартиру и, упав перед ним на пол, стал на виду всей семьи целовать ему ноги.

— Я не знаю тебя! — воскликнул, гневно вскочив, Матушкин, схватил пальто, шапку и вышел вон, бормоча: «Ишь, гад ползучий, на пол шмякнулся, ноги лобзает...»

В тот день, незадолго до этой сцены, осмелевшая после ареста Лукии Спиридоновны соседка Люба рассказала ему, как зимой караулил Захаров тайком Матушкина, не украл ли тот картошку, не понесет ли ее домой. Услышав это, Матушкин почувствовал, как потянуло больно сердце, словно из него нитку стали прясть. Обида обожгла...

Через несколько дней после старухиного ареста вызвали его к следователю. В ночь перед этим разговором лишь ненадолго Матушкин забылся тревожным сном.

До сих пор помнится, как, исходя испариной, выкручивался перед следователем, чтоб и Спиридоновну спасти, и самому не пострадать. В первую очередь с него потребовали расписку в приеме картошки, изъятой у гражданки Захаровой. Кладовщик обязан был написать таковую.

— Расписки-то, понимаете ли, нету, — ответил он, прикидываясь простачком.

— Почему? Почему расписки нет? — допы-

тывался хмурый следователь и стал порывисто перебирать стопку исписанной бумаги на столе.

— Виноват, — оправдывался Матушкин, — не взвесил я картошку изъятую. Растерялся тогда. Виноват. Никогда не крали, и я растерялся. Извините, пожалуйста.

— Может, вы покрывали гражданку Захарову? — посмотрел пристально следователь.

— Никак нет! — возразил горячо Матушкин. — У меня, товарищ капитан, трое детей, все голодные, но я себе ни клубенька не взял государственного, и другим я не способствовал в воровстве. Боже правый!

— Ну, хорошо. Допустим, покрывать вам ее резону нет. Ну тогда можете вы хотя бы приблизительно, на глазок, определить, сколько было похищено картошки?

Матушкин ненадолго задумался и ответил:

— Нет, не могу. Виноват, не взвесил, растерялся. А сколько было — не знаю, — бормотал он. — Неверно будет, совру. Ни за что и оклеветаю человека. Ведро оно ведь тоже изрядно потянет. Может, там килограмм был, а может, полтора. Свою вину признаю, но клеветать не могу. Старый человек, семьдесят лет, кому прок, если ее посадят.

Следователь записал в протоколе, что Матушкин наговорил, дал ему подписать бумагу и вздохнул как-то облегченно.

Потом он из стопки бумаг, которые поправлял, взял листок, сложенный прежде, судя по сгибам, вчетверо, посмотрел в него задумчиво, положил обратно. Неожиданнно спросил, закуривая папиросу:

— Гражданку Карасеву снабжали зимой картошкой? Маскируя под гнилую?

Вопрос застал врасплох, Матушкин онемел и стал медленно краснеть. Он догадался, что бумага, которую только что держал следователь, была доносом, написанным Захаровым. Иначе чего б агроном прибежал ноги целовать. Так вон, оказывается, почему зимой приезжал следователь в хозяйство, разговаривал с людьми, интересовался, как обстоят дела с охраной соцсобственности.

— Можете не отвечать, — сказал капитан, видя, как смущен Матушкин.

Он назидательно предупредил кладовщика, чтоб впредь изъятые овощи взвешивал, если будут таковые, и отпустил его.

Через пару дней вернулась домой и Лукия Спиридоновна, дело за отсутствием состава преступления закрыли.

Сегодня в пионерлагере Захаров витиевато спросил Матушкина, никак не называя его, потому что забыл и имя его, и фамилию:

— Дело-то, конечно, уж давнее и быльем поросло, но позволь, однако, возлюбопытствовать: неужто в ту пору не брал себе?

И тут Матушкина ожгла догадка, что Захарова этот вопрос мучил всю жизнь и теперь, через тридцать шесть лет, мучает. Анатолий Игнатьевич нахмурился:

— Нет, Кузьма, не брал!

Захаров помолчал.

— А мама-то... Молилась за тебя... — признался он неожиданно. — Да-а вот, молилась. До последнего дня, — добавил, опять помолчав.

По дороге из пионерлагеря до станции Матушкину не раз вспомнились эти слова. Что ж,

старался, конечно же, жить по совести, как дед с отцом заповедали. Но вот до сего часа не ведал, сколь приятно осознать это в конце жизни. И снова подумалось о том, что завершается она у него, жизнь-то, но давешнего сожаления об этом теперь не было.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

**Виталий Анатольевич
Богомолов**

ГЛУХАРИНОЕ УТРО
Рассказы

Редактор **А. Ефимов**
Художник **И. Суслов**
Художественный редактор **А. Никулин**
Технический редактор **К. Васильева**
Корректоры **Т. Воротникова,
М. Курносенкова**

ИБ № 161
Сдано в набор 17.02.87. Подписано к печати 5.11.87. А 12102. Формат 70×90¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 7,02. Усл. краск.-отт. 7,32. Уч.-изд. л. 7,39. Тираж 30 000 экз. Заказ 2762.
Цена 55 коп.
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
Отпечатано с набора типографии издательства «Московская правда», Потаповский пер., 3. в Рязанской областной типографии 390012, Рязань, Новая, 69/12 Зак. 49.

Богомолов В. А.

Б74 Глухариное утро: Рассказы. — М.: Современник, 1987. — 188 с. — (Новинки «Современника»).

Нравственная проблематика произведений молодого уральского прозаика Виталия Богомолова, их духовная напряженность обусловлены обостреиной жаждой справедлнвости, борьбой за чистоту человеческих отношений, желанием заставить читателя задуматься о себе, о долге перед близкими, а в конечном счете и перед Отечеством.

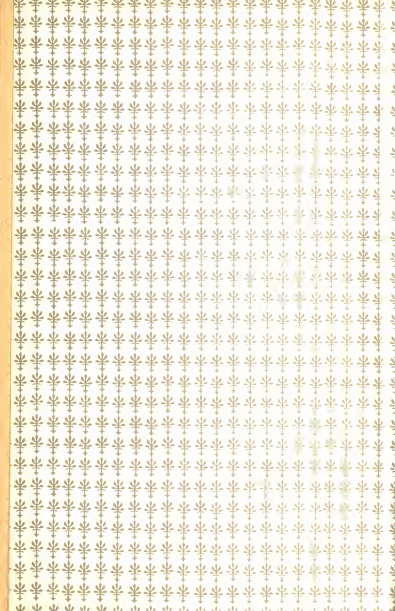
Б $\frac{4702010200 - 322}{М106(03) - 87}$ 30 — 87

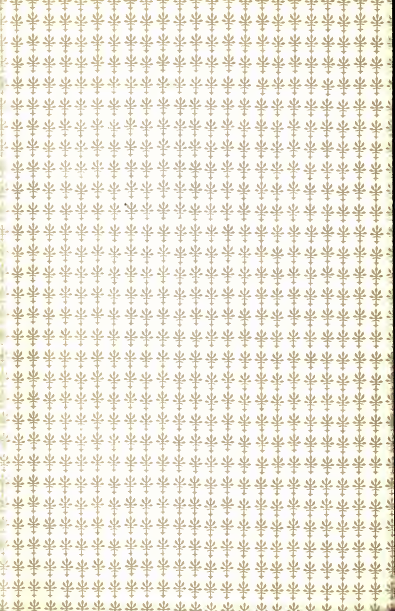
ББК84Р7
Р2

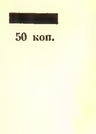
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Издательство «Современник»







[redacted]

50 коп.

Опечатка

Цена в обложке
без целлофановой пленки 50 коп.